

Из каталонской поэзии

Из каталонской поэзии



Из каталонской поэзии

Переводы с каталанского

Ленинград
„Художественная литература“
Ленинградское отделение 1984

ББК 84.4 Ис
И 32

Составление
З. ПЛАВСКИНА и Вс. БАГНО

Вступительная статья
З. ПЛАВСКИНА

Комментарии
Вс. БАГНО

Художник
В. БЕГИДЖАНОВ

И $\frac{4703000000\text{-}080}{028(01)\text{-}84}$ КБ-17-15-84

О Каталонии и ее поэзии

Когда говорят «литература Испании», в нашей памяти сразу возникают имена Сервантеса и Лопе де Веги, Мачадо и Лорки, великих деятелей испано-кастильской литературы. Но Испания — многонациональное государство, в ее пределах живут не только испанцы (кастильцы), но и галисийцы, баски, каталонцы, и у каждой из этих наций есть своя давняя история, свой язык, своя богатая культура, в том числе и поэзия. Образцы многовекового поэтического творчества каталонцев собраны в этой книге.

Каталония — историческая область Испании, лежащая на северо-востоке полуострова между Пиренеями и рекою Эбро. Нынешнее ее название появилось сравнительно поздно — лишь в одном документе XII века, но история ее — как бы ни назывались эти земли на протяжении веков — уходит в глубокую древность. Предки каталонцев — иберские племена — заселяли южные отроги Пиренеев и прилегающие к ним земли еще за несколько тысячелетий до нашей эры. Благодатная природа, богатство недр, выгодное географическое положение на берегах Средиземного моря, этой колыбели европейской цивилизации, давние и регулярные связи с другими народами, ближними и дальними, создали благоприятные условия для экономического развития края. Его обитатели всегда славились необычайным трудолюбием, упорством в достижении цели, физической силой и духовной энергией. Недаром у кастильцев родилась поговорка: «Каталонцы и камни превращают в хлеб!» А о вещи, фантастически трудно достижимой, говорят, что не добиться ее «даже каталонцам». Но за всю многовековую историю Каталонии едва ли наберется несколько столетий, когда страна пользовалась благами независимости. Одних завоевателей сменяли другие: сперва карфагеняне, потом римляне, германские племена, арабы...

В 711 году первые отряды арабских всадников высадились на южном побережье Испании, а спустя несколько лет почти вся территория Пиренейского полуострова была захвачена ими. В 713 году арабы заняли Барселону; немногочисленные каталонские воины вынуждены были укрыться в горах. Именно здесь, да еще на севере полуострова — в Кантабрии — возникли первые очаги сопротивления арабским завоевателям, положившего начало реконкисте, длительному процессу отвоевания земель из-под владычества арабов.

Стремясь вернуть утраченную родину, каталонцы в конце VIII столетия призвали на помощь для борьбы с арабами соседнюю франкскую державу. При императоре Карле Великом и его сыне Людовике Благочестивом франки завоевали крепости Жерону, Лериду, Барселону (в 801 г.), Таррагону и другие. Возникшие на завоеванных ими землях графства Барселонское, Руссильон, Ампуриас и Бесалу франки объединили в так называемую Испанскую марку (маркой в те времена называли пограничную область). И хотя фактически барселонские графы действовали как самостоятельные правители уже с конца X века, независимость Каталонии от Франции была официально признана лишь договором 1258 года. Столетия регулярных политических, культурных и экономических контактов между Каталонией и южной Францией, особенно Провансом, сыграли огромную роль в формировании специфических черт языка и культуры Каталонии. Можно сказать, что все эти века каталонцы жили лицом к Франции, спиной — к другим народам Пиренейского полуострова. Складывавшийся в эту эпоху каталанский язык из всех иберо-романских языков, сформировавшихся на полуострове, ближе всего к провансальскому, а провансальская литература надолго стала предметом подражания для каталонских поэтов.

Все европейские литературы в XI—XIII веках ориентировались на опыт рыцарской лирики Прованса. Но, в отличие от поэтов других стран Европы, каталонские трубадуры восприняли не только идеи и формы культуры Прованса, но и его язык. На протяжении нескольких столетий каталанским языком ученые поэты не пользуются; на нем говорят, пишут официальные документы, исторические хроники, слагает свои песни народ, сочиняют стихи жоглары — певцы, бродившие от селения к селению, от замка к замку. Эта народная и близкая к народу поэзия на каталанском языке долгое время существовала лишь в устной традиции, и только позднее, претерпев весьма значительную трансформацию, была наконец частично записана. Среди старинных произведений народной поэзии были и романсы, то есть песни балладного типа. И хотя открывающие сборник романсы записаны сравнительно поздно,

не вызывает сомнений, однако, то, что некоторые из них (например, романс о графе Арнау) жили в устной традиции задолго до того, как их записали.

Между тем ученые поэты Каталонии, с презрением относясь к творчеству народа и жогларов, сочиняли свои лирические произведения только на провансальском языке. Одновременно шло и восприятие характерных для лирики Прованса рыцарских идеалов, поэтических форм, жанров, изобразительных средств. В этой поэзии к существующему на ранних этапах развития феодализма героическому идеалу рыцаря-воина и вассала присоединяется новый рыцарский кодекс благородства, который объявляется даром крови и должен как бы освятить господство рыцарства в феодальном обществе. Вместе с тем рыцарская поэзия утверждала жизнерадостный светский идеал, свидетельствовала о пробуждении интереса к краскам и формам реального мира, к душевным переживаниям человека.

Хотя среди создателей рыцарской лирики — трубадуров — в Каталонии было немало талантливых поэтов, их творчество не представлено в нашей книге — оно относится скорее к провансальской, чем к собственно каталонской поэзии. Отличавшаяся от провансальской лирики лишь несколько более грубоватым тоном да некоторыми своеобразными ритмическими формами, эта поэзия и своей тематикой, и метрикой оказывала, однако, воздействие на творчество поэтов последующих поколений в Каталонии.

В XII—XIII веках в судьбах каталонского народа произошли весьма важные перемены. Барселонское графство вошло в состав Арагонского королевства. Позднее Арагон разными путями завладел почти всей южной Францией, включая Прованс, затем у арабов были отвоеваны вся область Валенсии и Балеарские острова. Население вновь приобретенных территорий составили преимущественно каталонцы; с этой поры (середина XIII века) в каталонской литературе начинают формироваться валенсианская и майоркинская школы. К этому же времени относятся первые попытки каталонских поэтов избавиться от традиционного и предписанного вкусами аристократического общества двуязычия и перейти в поэзии на родной язык. В этом отношении особенно велика роль крупнейшего каталонского писателя, философа и ученого Рамона Льюля (в латинизированной форме — Раймунд Луллий).

Сын каталонского дворянина, перебравшегося на Майорку после ее отвоевания у арабов, придворный поэт, Льюль в возрасте чуть старше тридцати круто изменил все течение своей жизни: он прожил еще полвека, полностью отдавшись служению знаниям и богу. В этом соединении науки и религии, конечно, нет ничего удивительного для человека средневековья. Поразительно другое:

преклонение перед наукой порождает в Льюле стремление сделать ее достоянием не избранных, но многих. В своих трудах он пытался выработать систему знаний, которая была бы максимально доступной. Он обошел и объездил чуть ли не полмира, повсюду проповедуя не только христианскую веру, но и научные знания. Ради этой цели он и пишет свои труды не по-латыни, как было принято, а по-каталански или по-арабски. В своем стремлении приобщить к истинам науки многих, он на несколько десятилетий опередил Данте. И, подобно Данте, своими научными трудами и литературными произведениями Льюль положил начало национальному литературному языку.

Число собственно литературных сочинений Льюля невелико. Его прозаическая «Книга о Бланкерне» (примерно 1284 г.) — первый на каталанском языке опыт создания романа — причудливо сочетает философские аллегории и автобиографическое повествование. Нетленную суть всей его поэзии — и публикуемой нами потрясающей своей искренностью исповедальной «Песни Рамона» (1299), и лирико-философской поэмы «Разочарованный» (1295), и других его поэтических сочинений — составляет глубокая, искренняя и требовательная любовь к людям, предстающая в традиционной для средневековой поэзии религиозной окраске. В поэтических произведениях он отходит от провансальской школы, отказавшись не только от провансальского языка, но и от вычурного стиля, характерного для поздних трубадуров.

Поэтическое творчество Льюля нанесло чувствительный удар по провансальской школе в каталонской поэзии, но не покончило с ней. Вплоть до начала XV века провансальский язык оставался одним из языков, на котором творили поэты Каталонии, хотя здесь отчетливо ощущается движение от каталанизированного провансальского к провансализированному каталанскому. Провансализированным остается еще долгое время и творчество поэтов, чье формирование происходило на турнирах «цветочных игр» (jocs florals), то есть поэтических состязаниях, которые, по примеру Тулузы, начали проводить в Барселоне ежегодно с 1393 года. Среди тех, кто прославился на «цветочных играх» и удостоился на них наград — золотого, серебряного цветка или букета полевых цветов (отсюда и название этих состязаний), особенно известны имена братьев Джауме и Пере Марк. Любовная кансо (песня) и моралистический сирвентеск (жанр политической или морально-философской лирики) Пере Марка показательны для формирующейся в это время национальной школы «ученой поэзии».

Параллельно с этой школой развивалась поэзия, гораздо более органично связанная с народным поэтическим творчеством и

культивировавшая главным образом сатирические жанры. Один из наиболее своеобразных представителей этого направления — майоркинский поэт конца XIV — начала XV века Ансельм Турмеда, вольнодумец и богохульник, принявший мусульманство и переселившийся в Тунис.

Между этими двумя направлениями, однако, не было непроходимой стены. Наоборот, по мере своего формирования национальная поэзия Каталонии все более явственно тяготела к синтезу провансализирующей ученой и фольклорной традиций. В XV веке к этому добавились уроки ренессансно-гуманистической поэзии Италии. Творческое усвоение их стало возможным потому, что в XV столетии литература Каталонии первой в Испании пережила период Ренессанса: наступил Золотой век каталонской культуры — увы, краткий.

К этому времени все феодальные государства Пиренейского полуострова, кроме Португалии, вошли либо в состав Кастилии (она объединила северные, центральные и южные области полуострова), либо Арагона (восточные и северо-восточные области). При этом Арагон по темпам социального развития явно обгонял Кастилию, а в экономической и политической мощи не уступал ей. Быстро развивается промышленность и торговля в приморских городах Каталонии; Барселона становится крупнейшим экономическим центром всего Средиземноморья. В Каталонии формируются раннебуржуазные отношения.

Здесь растет тяга к знаниям. Университеты в Барселоне (основан в 1430 г.) и Жероне (1436 г.) становятся центрами гуманистической учености, изучения античности и перевода античных авторов, формирования новой ренессансной культуры.

Возникновению культуры Возрождения в Каталонии способствовали регулярные контакты с ренессансной Италией, особенно усилившиеся после завоевания в 1442 году Арагоном Неаполя. Двор арагонского короля Альфонса V Великодушного, обосновавшийся в Неаполе, стал средоточием гуманистически настроенных деятелей итальянской культуры. Каталонские гуманисты познакомились с итальянской ренессансной литературой и искусством; появились в переводе на каталанский язык не только античные авторы, но и «Божественная комедия» Данте, произведения Боккаччо, лирика Петрарки. В первой половине XV века в Каталонии складывается даже многочисленная «итальянская» школа поэтов-петраркистов: Андреу Фебрè, Джорди де Сан Джорди и др. С петраркизмом связана и поэтическая деятельность крупнейшего ренессансного поэта Каталонии Аузиàса Марка.

Сын поэта Пере Марка, А. Марк обратился к поэтическому творчеству в зрелом возрасте. Уже в одной из первых своих «Пе-

сен о любви» он решительно заявляет о своем неприятии рыцарской поэзии: «Откажемся от слога трубадуров, которые в пылу страсти искажают истину...» Поэт вводит в свои стихи прозаизмы, стихи его порой намеренно усложнены; они привлекают читателя не звучностью рифм и мелодией стиха, а искренностью выраженных чувств, глубиной передачи мельчайших оттенков переживаний. Его произведения пронизывает внутренняя противоречивость, диалектика мысли. Поэт в разладе с самим собой, и потому в стихах его все время как будто спорят друг с другом два непримиримых противника: один, страстно влюбленный во все земное, жаждущий простого человеческого счастья, и другой, казнящий себя за эти еретические помыслы и желания. Подобная раздвоенность сознания присуща и многим другим художникам раннего Возрождения в Европе, в их числе и самому Петрарке: слишком крепкими еще были узы, связывавшие их со средневековым сознанием. Тем более величествен подвиг поэтов, воспевших реальную женщину и земную любовь. Кто бы ни была та, которую Марк именует «лилией средь чертополоха», любовь, которую она пробудила в сердце поэта, при всем благородстве этого чувства, была вполне земной. В любви, утверждает Марк, все возвышает человека, делает его «лучшим из влюбленных»: и счастье разделенного чувства, и боль разлуки, и горечь измены, и непоправимая утрата — смерть. Поэтому гимном любовному чувству в равной мере звучат и цикл «Песен о любви», и «Назидательные песни», и скорбный реквием памяти любимой в «Песнях о смерти», и даже торжественно-траурная, но вместе с тем исполненная могучей жизненной силы поэма «Песнь». Именно глубокая вера в человека, гуманистическое начало и определило широкую известность творчества А. Марка во всей Испании и его влияние на последующее развитие поэзии на полуострове.

В самой Каталонии пример Марка, можно сказать, пробудил дремавший дотоле национальный гений. И в поэзии, и в прозе во второй половине XV столетия творят многие самобытные художники. Романный жанр, до того почти не развивавшийся, в это время представлен такими великолепными образцами, как анонимное произведение «Куриаль и Гуэльфа», как приобретший известность далеко за пределами Каталонии ренессансный рыцарский эпос «Тирант Белый» Джоанота Мартореля и Марти Джоана де Гальбы, как сатирический роман в стихах «Зерцало» (другое название — «Книга о женщинах») Джауме Ройга. Сатирическую направленность приобрело творчество многих поэтов, главным образом валенсианской школы, в их числе Джоана Ройса де Корелья, последнего поэта Золотого века Каталонии.

Все как будто бы предвещало дальнейшее бурное развитие каталонской культуры. Увы, оно оказалось неожиданно и в зна-

чительной мере насильственно прерванным в конце XV века — после того, как произошло объединение Кастилии и Арагона.

Возникновение единого испанского государства было подготовлено всем предшествующим историческим развитием народов Пиренейского полуострова, в частности, их совместной борьбой за освобождение от арабского ига. Во второй половине XV века возникли особенно благоприятные обстоятельства: централизации страны способствовали рост городов, промышленности и торговли, ослабление феодальной вольницы и сплочение вокруг королевской власти значительной части дворянства, напуганного угрозой антифеодальной крестьянской войны. Объединение Испании было осуществлено в 1470-х годах с помощью брачного союза между кастильской принцессой Изабеллой и арагонским принцем Фердинандом.

Централизация государства, несомненно, имела прогрессивное значение, создав условия для ускорения процессов социально-политического развития страны, усиления ее экономической мощи и укрепления ее авторитета на международной арене. Однако в силу ряда исторических обстоятельств эти потенции не были использованы, а политика испанского абсолютизма начиная с XVI века во всех сферах приобрела откровенно реакционный характер. Особенно пагубно это сказалось на культуре национальных меньшинств — галисийцев, басков, каталонцев. После возникновения единого испанского государства политика монархии была направлена против сепаратистских и автономистских устремлений Каталонии, Галисии, Басконии. Дважды это вызывало вооруженное сопротивление каталонского народа. Первое восстание вспыхнуло в 1640 году, и лишь двенадцать лет спустя испанскому королю удалось восстановить свою власть над Каталонией. В начале следующего столетия, в годы войны за Испанское наследство, произошло новое восстание. Подавив его, власти в 1716 году окончательно отменили средневековые каталонские вольности, запретили пользоваться каталанским как официальным языком.

На протяжении нескольких столетий, чуть ли не до середины XIX века, каталонская культура всячески подавлялась, насильственно насаждались кастильский язык и культура. К тому же некоторые каталонские писатели и ученые сами объявили родной язык языком «черни» и стали писать свои произведения по-латыни или по-кастильски. В результате литература на каталанском языке оказалась в глубоком кризисе. Было бы, однако, наивно полагать, что три столетия национальное поэтическое сознание Каталонии спало непробудным сном. На протяжении всей этой эпохи

продолжала существовать и развиваться фольклорная поэзия. Не прекращалось и творчество поэтов профессиональных, особенно тех из них, кто был близок к народно-поэтической традиции. Произведения этих писателей, в их числе популярнейшего поэта XVII века Франсеска Висенса Гарсиа, писавшего под псевдонимом Ректор из Вальфогоны, Франсеска Фонтанельи и некоторых других, долгое время распространялись в списках и были напечатаны много позднее. Но их существование означало, что и национальная культура, и национальный язык живы. Об этом же свидетельствовали многочисленные труды каталонских просветителей XVIII века о языке и истории Каталонии и деятельность созданной в Барселоне Королевской академии изящной словесности и университета в Сервере.

Развитие экономики, капиталистических отношений в промышленности Каталонии на рубеже XVIII—XIX веков, всенародная война против оккупировавших страну наполеоновских войск, совпавшая с первой буржуазно-демократической революцией в Испании, другие буржуазные революции XIX столетия вызвали быстрый рост национального самосознания каталонского народа, способствовали возрождению национальной культуры.

Решающую роль на этом этапе, который в Каталонии получил наименование Ренашенсы (то есть возрождение, обновление), сыграло романтическое искусство. Как литературное направление романтизм утверждается в Каталонии сравнительно поздно — в начале 40-х годов. Однако задолго до этого он уже существовал по крайней мере как общественная и литературная атмосфера. Так, например, барселонский журнал «Эль Эуропео» еще в 1823—1824 годах сформулировал некоторые основные принципы романтической эстетики. И именно одному из издателей этого журнала — Бонавентуре Карлесу Арибау — принадлежит и первое произведение каталонского романтизма — ода «К родине», меланхолическая дума о былом величии Каталонии и призыв к его возрождению. Дата публикации этого стихотворения — 24 августа 1833 года — традиционно считается днем рождения каталонского романтизма.

Уже в оде Арибау отчетливо обнаруживается одна из самых характерных особенностей романтического движения в Каталонии — его подчеркнуто национальный характер: историческая память, влюбленность в прошлое своей «малой родины» — черта, присущая едва ли не всем каталонским романтикам.

Это проявляется, в частности, в том, что писатели ориентируются на отечественную литературную традицию. Ренашенса означала не только возрождение литературы на каталанском языке,

долгое время находившейся под запретом, но также и широкий интерес к формам и приемам «ученой» и народной поэзии XIII—XVI веков. Одно из свидетельств этого — сборник стихотворений «Волынщик с Льобрегата» (1841) Джоакина Рубио и Орса, написанных преимущественно в жанре народного романса и легенды.

Лирический герой сборника — типично романтический персонаж. Он «дитя природы», «естественный человек», черпающий силы и вдохновение в слиянии с родными Пиренейскими горами и долинами Льобрегата. К тому же он поэт и музыкант, а значит, изгой, ибо современное буржуазное общество по самой своей эгоистической и своекорыстной сущности враждебно искусству. Волынщик с Льобрегата становится как бы вторым «я» самого поэта, а вместе с тем и образом-символом всего каталонского народа, приверженного своим вековым традициям. В уста героя Рубио и Орс вкладывает простодушно-наивные, но проникнутые глубоким чувством песни и предания о родной земле.

Та же влюбленность в историческое прошлое родной культуры побудила Рубио и Орса и группу писателей, объединившихся вокруг него, выступить инициаторами возобновления «цветочных игр»: с 1859 года в течение полувека эти поэтические состязания проводились в Барселоне. Трудно переоценить значение «цветочных игр» в истории Ренашенсы: поэты Каталонии получили трибуну, с которой они могли провозгласить право своей национальной культуры на самостоятельное существование и в значительной мере это право реализовать; «цветочные игры» открыли многие имена, прочно вошедшие в историю поэзии Каталонии. Среди лауреатов «цветочных игр» были и все поэты XIX века, представленные в нашей антологии.

Вместе с тем «цветочные игры» наложили своеобразный отпечаток на развитие поэзии Ренашенсы. Как и в средние века, тематика представлявшихся на эти поэтические конкурсы произведений строго лимитировалась тремя темами: родина, вера, любовь. Тема родины у каталонских романтиков — это преимущественно гимны родной природе и героическому прошлому Каталонии, историческому и легендарному. Обращение к истории было для поэтов прежде всего способом ответить на мучительные вопросы, которые перед ними ставила современность.

Вторая половина XIX века для Каталонии — эпоха решительного торжества капиталистических порядков. На окраинах Барселоны и других городов задымили трубы фабрик и заводов, вокруг них вырастали кварталы нищеты — пролетарские предместья, а на центральных улицах и площадях Барселоны возводились особняки один роскошнее другого — обиталища новых хозяев жизни, фабрикантов и банкиров. Нельзя сказать, что ро-

мантические поэты не замечали этого. Но большинство из них наивно отрицали неотвратимость происходящих перемен; «развращенному» буржуазной цивилизацией городу они противопоставляли природу и сельский быт, где еще сохранялись любезные их сердцу патриархальные нравы. Эту позицию можно было бы охарактеризовать ленинскими словами как «сентиментальную критику капитализма» [1]. С этим связана и специфика изображения народа в произведениях поэтов Ренашенсы. Народ предстает здесь носителем высшей нравственности и идеальной добродетели; «истинных» представителей народа поэты ищут в глухих патриархальных селениях, куда еще не проникла «зараза» буржуазной, все нивелирующей цивилизации. Здесь, на лоне первозданной природы, в слиянии с ней, народ будто бы еще сохраняет искони присущие ему добродетели, в их числе глубокую религиозность.

Не приходится сомневаться в том, что религиозные чувства, выражаемые столь настойчиво поэтами «цветочных игр», вполне искренни. Но не забудем и того, что в XIX веке, как и прежде, национальное движение в Каталонии наталкивалось на постоянное противодействие властей. Нередко прямой разговор о судьбах отчизны и коренных проблемах человеческого бытия затруднялся цензурными рогатками, и поэтому религиозная символика, библейская поэтическая образность становились своего рода эзоповым языком, с помощью которого поэты получали возможность выразить свои самые сокровенные чаяния и мечты. И наконец, иногда наивная и простодушная религиозность народа, не лишенная мистического оттенка, противопоставлялась пышному культу и «мирским заботам» официальной церкви.

Подобная мятежная, еретическая религиозность характерна для многих произведений самого значительного каталонского поэта XIX века Джасинта Вердагера. Сын крестьянина из глухой каталонской деревушки, он всем своим жизненным обликом как бы воплощал тот идеал человека из народа, который воспевали романтики. Творчество же Вердагера стало вершиной каталонского романтизма.

Пожалуй, наиболее характерная особенность всего творчества Вердагера — его глубокая органичность. В его устах обращение к прошлому звучит столь же естественно, как и стихи, посвященные величественной природе Пиренеев, бесхитростному быту их обитателей или религиозным легендам, передающимся здесь из поколения в поколение. Два наиболее значительных произведения Вердагера — поэмы «Атлантида» (1876) и «Канигó» (1886), не вклю-

---

[1] Эти слова — ленинская характеристика русского народничества. См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 2, с. 202.

ченные в книгу из-за больших размеров,— посвящены прошлому: первая из них излагает легенду о погибшем материке Атлантиде, наследницей былого величия которой объявляется Каталония; вторая воскрешает предания о героических деяниях каталонцев в средние века. Сравнительно немногочисленные его лирические стихотворения перекликаются с этими поэмами благодаря присущей и тем и другим стихийной мощи, непосредственности и прозрачной ясности образов, наивной, «фольклорной», окрашенной в мистические тона религиозности и суровой правде о жизни людей из народа, их стойкости в жизненных испытаниях.

Творчество Вердагера венчает и завершает поэзию Ренашенсы. Литература этой эпохи сыграла чрезвычайно важную культурно-историческую роль. Она открыла народу Каталонии перспективу национального развития, возродила и обогатила национальные культурные традиции, определила пути и средства художественного познания национального бытия. Но деятели Ренашенсы вольно или невольно сузили горизонты поэтического видения действительности, исключили целые пласты жизни каталонского народа из поля зрения поэзии, изолировали искусство своей страны от магистральных путей развития европейской культуры. Эта ограниченность позиции большинства каталонских романтиков вызывала критику уже некоторых поэтов Ренашенсы, например рано умершего Джоакима Мариа Бартрины. Однако только в конце века эта критическая позиция получила развернутое обоснование в деятельности группы поэтов, представленных в нашей книге Джоаном Марагалем.

Некоторыми сторонами своего творчества, в частности призывами «снести Пиренеи», то есть устранить препятствия на пути освоения национальным искусством лучших достижений мировой культуры, деятельность Марагаля и его единомышленников близка к деятельности Поколения 1898 года, сыгравшего выдающуюся роль в истории культуры Испании нашего столетия. Недаром Марагаля связывали узы дружбы с духовным вождем Поколения Мигелем де Унамуно. Как и деятели Поколения, Марагаль стремился возвысить свою поэзию над местной проблематикой, приобщить ее к идейным, философским и эстетическим исканиям европейской культуры, ничего не теряя при этом в своей национальной специфике. Марагаль отнюдь не был радикалом по политическим убеждениям, но он не любил самодовольного буржуа, его победу иронически изобразил в «Новой оде Барселоне», а в своем поэтическом завещании (см. «Песнь», с. 131) он позволил себе скептические высказывания по поводу некоторых «непреложных истин» христианской религии.

Подобная свобода в обращении с традицией характерна и для опытов Марагаля и других поэтов рубежа века в области ка-

таланского языка: отказавшись от тенденции к некоторой архаизации языка, свойственной поэтам «цветочных игр», они чрезвычайно обогатили поэтическую речь за счет обращения к живому разговорному языку улицы. В этом отношении, как и во многих других, творчество сторонников Марагаля, завершая поэтические искания XIX века, перебрасывало мост в новую эпоху.

В XX век Испания вступала под знаком глубокого социально-политического кризиса, обнаружившегося в сокрушающем поражении страны в испано-американской войне 1898 года, которое лишило Испанию ее последних заокеанских колоний и низвело до положения захудалой европейской провинции. Вместе с тем XX столетие приобщило Испанию, в том числе и каталонский народ, к великим социальным потрясениям современной эпохи. «Кровавая барселонская неделя» 1909 года, когда правящие классы залили кровью выступление трудящихся каталонской столицы против военной авантюры испанской монархии в Марокко; забастовки и революционные выступления барселонского пролетариата после первой мировой войны; жестокие репрессии, которые обрушила на народные массы и передовую интеллигенцию в 20-е годы военная диктатура генерала Примо де Риверы; провозглашение республики в 1931 году и острые столкновения общественных сил в последующие годы; героическая эпопея Национально-революционной войны, в которой каталонский народ сражался против фашизма с первых известий о мятеже генералов в июле 1936 года и до трагического исхода сотен тысяч воинов Республики и мирных жителей через пиренейские ущелья во Францию в январе — феврале 1939 года; наконец, продолжавшаяся почти четыре десятилетия франкистская диктатура — таковы памятные вехи в исторических судьбах каталонского народа. Крутые повороты истории определили собой и сложность, и многообразие процессов, развивавшихся в каталонской культуре XX века. Конечно, в короткой вступительной статье невозможно эти процессы охарактеризовать сколько-нибудь обстоятельно. Остановимся же лишь на нескольких наиболее существенных моментах, попробуем определить некоторые «константы» каталонской поэзии этих бурных лет и десятилетий.

Одна из подобных констант, характерная для каталонской поэзии именно XX века,— это ориентация на опыт европейской и мировой культуры. Вряд ли можно назвать в мировом искусстве нашего столетия какое-нибудь влиятельное поэтическое направление или школу, какими бы эфемерными ни были сроки их существования, которые не нашли бы сторонников и последователей в среде каталонских поэтов. При этом, однако, нельзя не заметить,

что, осваивая новые приемы и средства поэтического выражения, каталонские поэты чаще всего сохраняли верность национальной теме, неизменно предпочитая в конечном счете гражданственность позиции и готовность разделить с народом его судьбу. И именно благодаря этой важнейшей константе — приверженности к национальному и народному началу, — большинство каталонских поэтов XX века, пройдя сквозь искус различных «измов», обращались к искусству реалистическому и социальному.

Приведем лишь несколько примеров. В идеологии и культуре Каталонии новый век открывался движением «ноусентистов» («девятисотников»). Это движение в идеологическом отношении было отражением процесса стабилизации буржуазных общественных отношений в стране; в искусстве же, в поэзии оно стало своеобразной реакцией на романтизм. Так, если романтики ориентировались на преимущественное изображение сельского быта и природы, то Джозеп Кариѐ и другие «ноусентисты» объявляли основным объектом поэзии город и индустриальный пейзаж; если романтики предельно субъективировали поэзию, то Карие заявлял о своем стремлении предельно «объективно», как бы со стороны взглянуть на вековые проблемы человеческого бытия — Жизнь, Любовь, Смерть; в противовес романтическому своеволию в поэтической форме, Карие, вслед за французскими парнасцами, стремился к предельной пластичности, строгой ясности, отточенности ритма и рифмы, классической строгости жанровых форм и т. д. Однако «объективность» авторской позиции Карие оказывается мнимой: поэт, который, по его собственным словам, «послаблений от судьбы не ждет» и для которого «святее всех — венец безмолвной боли», снимает олимпийское спокойствие в своих ранних стихах иронией, а в поэтических сборниках последних лет жизни, когда Карие, находившийся за границей, отказался вернуться в захваченную франкистами Каталонию, все чаще прорывается тоска по душевной теплоте и открытости взглядов, по человечности, попранной и растоптанной фашистами.

Карлес Риба начинал свое поэтическое творчество под очевидным влиянием поэзии Карие. Позднее он провозгласил высшей целью поэтического творчества создание поэзии, чистой от всего «случайного», «злободневного» и, следовательно, как он полагал, выражающей устойчивую суть изменчивого мира. Примечательно, однако, что именно Риба в трудный для родины час оказался в народном стане. Несколько лет после поражения республики он провел в изгнании, а вернувшись в Барселону в 1943 году, до самой смерти активно боролся за восстановление в правах национальной каталонской культуры. Сборник его стихотворений «Бьервильские элегии» (1942) стал ориентиром для многих молодых поэтов не только благодаря совершенству поэтической формы, но и потому,

что соотечественники автора представали в этих стихах как «дети гнева и надежды».

Сторонников авангардистского искусства в каталонской поэзии было не так уж много; среди них видное место занимали Джозеп Висенс Фош и Жоан Сальват-Папасейт. В стихах Фоша, написанных в 20-е годы, но опубликованных много позднее («Один, и в трауре», 1947; «Где я оставил ключи», 1953, и др.), отрицание мещанской обыденности, неприятие окружающей действительности получило выражение преимущественно в крайнем усложнении и субъективизации метафор и иных изобразительных поэтических средств. В поздних сборниках стихов («Одиннадцать сочельников и один канун Нового года», 1960, и др.), появившихся после долгого молчания, Фош отказывается от крайностей формотворчества, стремясь к музыкальной «оркестровке» стиха.

По-иному воспринимал идеи авангардизма Д. Сальват-Папасейт. Прогрессивный журналист, поэт-самоучка, Сальват-Папасейт и поэзию стремился сделать орудием борьбы: для его стихотворений характерны резко антибуржуазные настроения, сочувствие рядовым труженикам, революционный протест, не лишенный, правда, оттенка анархического бунтарства.

В 1930-е годы культура Каталонии переживала невиданный дотоле подъем. Этому способствовало установление республиканского строя в Испании, предоставление Каталонии статуса национальной автономии (1932 г.). В эти годы каталанский язык объявили на всей территории Каталонии официальным языком наряду с испано-кастильским, начинается преподавание родного языка в школах, увеличивается выпуск на каталанском языке книг и периодических изданий. К этому же времени относится расцвет реалистической поэзии, опиравшейся на фольклорные традиции. Требования самой жизни и логика творческих исканий приводят к реалистическому искусству поэтов, прошедших в начале своего пути через увлечение иными эстетическими школами; реалистическую направленность приобретает и деятельность более молодых поэтов. Реалистическая глубина постижения действительности в соединении с раскованностью и свободой поэтического выражения характеризует, например, творчество одного из талантливейших представителей молодого поколения — Джоана Оливé, печатавшегося под псевдонимом Пере Кварт. Поэт преимущественно сатирического склада, Пере Кварт весь свой сарказм и язвительные насмешки направляет против буржуазной пошлости и напыщенного самодовольства мещан, в его поэзии отчетливо ощущаются социально-критические тенденции.

Поражение республики в национально-революционной войне (1939 г.) означало для каталонской культуры, как и для культуры других национальных меньшинств, катастрофу, последствия кото-

рой будут ощущаться еще долго. Все особые национальные права этих народов были отменены, и даже самый национальный вопрос был объявлен несуществующим, «выдумкой врагов нации». Франко пришел к власти под лозунгом «Испания единая, великая и имперская». Каталанский, галисийский и баскский языки оказались под запретом, многие деятели культуры вынуждены были покинуть Испанию либо замолчать, сопротивляясь насильственной «испанизации». Казалось, страну надолго поразила летаргия...

Однако франкизму не удалось уничтожить национальное самосознание каталонского, галисийского и баскского народов. Их литературы оказались удивительно жизнеспособными и, вопреки всем препонам на их пути, очень скоро стали возрождаться к новой жизни — сперва в подполье и изгнании, а затем, с 50-х годов, когда в стране активизируется деятельность антифранкистской оппозиции, все более открыто и в самой Испании.

В Каталонии этот процесс возрождения национальной литературы вовлек в свою орбиту поэтов всех поколений: наряду со «стариками» — Д. Карне, К. Рибой, Д. В. Фошем, представителем среднего поколения — Пере Квартом, в нем участвовали и десятки молодых, в их числе Сальвадор Эсприу, Габриэль Ферратè и другие.

Особенно характерно для послевоенной поэзии творчество С. Эсприу, признанного лидера каталонских литераторов наших дней. Во всех произведениях Эсприу — романах, драмах, стихах — господствует мрачный колорит: не случайно один из его ранних поэтических сборников назывался «Кладбище Синеры» (1946), а другой был назван по-английски «Mrs. Death» («Госпожа Смéрть», 1952). Большинство исследователей связывают выдвижение темы смерти в поэзии Эсприу на первый план с влиянием экзистенциалистской философии. В этом, несомненно, есть доля истины, но нельзя не учитывать и того, что сама франкистская действительность содержала в себе постоянную угрозу гибели всему, что было дорого поэту: духовной независимости, национальному самосознанию, творчеству. Понимание этого проникает в поэзию Эсприу, наполняя ее все более откровенным социально-критическим содержанием.

Мрачный колорит по-прежнему присущ стихам поэта. Но теперь он свидетельствует об осознании поэтом трагической судьбы Каталонии, «бедной, суровой, печальной, несчастной отчизны», в которую поэт, как признается он в одном стихотворении, «безнадежно влюблен». Начиная со сборника «Бычья шкура» (1960), смерть воспринимается Эсприу не столько как метафизическая, сколько как общественная сила, несущая гибель народам Испании (бычья шкура издавна считается образом-символом Испании). Можно смириться со смертью одного человека, жертвующего

жизнью во имя родины, но нет никаких оправданий тем, кто обрекает на гибель целый народ, пишет поэт в другом стихотворении. Эсприу открыто объявляет о том, что высшим долгом своим как поэт он считает служение другим. Понимание этой личной ответственности за судьбу родины, своего места в строю борцов и стало источником мужества Эсприу и других поэтов-антифашистов.

Франкистский режим, которому сам Франко и идеологи фашизма пророчили тысячелетнее существование, потерпел крах вскоре после смерти каудильо в 1975 году. Начался медленный и мучительный, но неуклонный процесс возрождения демократии и свободы. Наряду с другими национальными общностями Каталония вновь обрела национальную автономию (1978 г.) и автономное правительство (1980 г.). Здесь опять введено преподавание каталанского языка и, что не менее важно, обучение на каталанском языке в школах всех типов. Снова на родном языке беспрепятственно публикуются десятки журналов и газет, выходят романы, драмы, стихи... Наступила пора обновления в искусстве, поисков новых, еще не изведанных путей...

З. Плавскин



XIII-XVIII века

РОМАНСЫ



Граф Арнау

— Вы одна ли в этот вечер,
женушка родная?
Вы одна ли в этот вечер,
вдовушка честная?
— Нет, одна я не бываю,
граф Арнау милый,
Нет, одна я не бываю,
господи, помилуй!
— Кто же с вами вечеряет,
женушка родная?
Кто же с вами вечеряет,
вдовушка честная?
— Бог и Пресвятая Дева,
граф Арнау милый,
Бог и Пресвятая Дева,
господи, помилуй!
— Ну а где же дочки ваши,
женушка родная?
Ну а где же дочки ваши,
вдовушка честная?
— В спальню я их отослала,
к ниткам да иголкам,
В спальню я их отослала,
вышивают шелком.
— А нельзя мне их увидеть,

женушка родная?
А нельзя мне их увидеть,
вдовушка честная?
— Напугаются уж больно,
граф Арнау милый,
Напугаются уж больно,
господи, помилуй!
— Ну пускай меньшую только,
женушка родная,
Ну пускай меньшую только,
вдовушка честная.
— И меньшую, граф Арнау,
вам не уступлю я,
И меньшую, граф Арнау,
тоже ведь люблю я.
— Замуж дочкам не пора ли,
женушка родная?
Замуж дочкам не пора ли,
вдовушка честная?
— Без приданого не выдашь,
граф Арнау милый,
Без приданого не выдашь,
господи, помилуй!
— У окна, под половицей,
кожаный мешочек,
там уж, вдовушка честная,
хватит вам на дочек.
Ну а где служанки ваши,
женушка родная?
Ну а где служанки ваши,
вдовушка честная?
— Серебро на кухне чистят,
не жалеют мела.
Серебро на кухне чистят,
чтоб не потускнело.
— А нельзя мне их увидеть,
женушка родная?
А нельзя мне их увидеть,
вдовушка честная?
— Напугаются уж больно,
граф Арнау милый,
Напугаются уж больно,
господи, помилуй!
— Ну а где же слуги ваши,
женушка родная?

Ну а где же слуги ваши,
вдовушка честная?
— Спят они на сеновале,
граф Арнау милый,
Спят они на сеновале,
господи, помилуй!
— Хорошенько им платите,
женушка родная.
Хорошенько им платите,
вдовушка честная.
— По усердью им и плата,
граф Арнау милый,
По усердью им и плата,
господи, помилуй!
Как же в дом-то вы проникли,
граф Арнау милый?
Как же в дом-то вы проникли,
господи, помилуй?
— Сквозь оконную решетку,
женушка родная.
Сквозь оконную решетку,
вдовушка честная.
— Ай, так вы ее спалили,
граф Арнау милый!
Ай, так вы ее спалили,
господи, помилуй!
— Не коснулся я решетки,
женушка родная.
Не коснулся я решетки,
вдовушка честная.
— Ай, у вас глаза дымятся,
граф Арнау милый.
Ай, у вас глаза дымятся,
господи, помилуй!
— То мои грехи выходят,
женушка родная.
Оскорбительные взгляды,
вдовушка честная.
— Ай, у вас дымятся губы,
граф Арнау милый.
Ай, у вас дымятся губы,
господи, помилуй!
— То мои грехи выходят,
женушка родная.
Криводушье и злоречье,

вдовушка честная.
— Ай, у вас дымятся руки,
граф Ариау милый,
Ай, у вас дымятся руки,
господи, помилуй!
— То мои грехи выходят,
женушка родная.
Нечестивые объятья,
вдовушка честная.
— Ай, у вас дымятся ноги,
граф Ариау милый.
Ай, у вас дымятся ноги,
господи, помилуй!
— То мои грехи выходят,
женушка родная.
По кривым путям хожденье,
вдовушка честная.
— Что это за шум я слышу,
граф Ариау милый?
Что это за шум я слышу,
господи, помилуй?
— Это конь мой бьет копытом,
женушка родная.
Это конь мой бьет копытом,
вдовушка честная.
— Ячменя ему подсыпьте,
граф Ариау милый.
Ячменя ему подсыпьте,
господи, помилуй!
— Нет, ячмень он есть не станет,
женушка родная.
Ест он проклятые души,
вдовушка честная.
— Ну а где приют вам дали,
граф Ариау милый?
Ну а где приют вам дали,
господи, помилуй?
— Где же, как не в преисподней,
женушка родная?
Где же, как не в преисподней,
вдовушка честная?
— Почему же в преисподней,
граф Ариау милый?
Почему же в преисподней,
господи, помилуй?

— За обманы да бесчестья,
женушка родная.
За обманы да бесчестья,
вдовушка честная.
И не нужно поминаний,
женушка родная.
И не нужно поминаний,
вдовушка честная.
Ведь от этих поминаний
Нет мне облегченья.
Ведь от этих поминаний
Только злей мученья.
И пускай заложат камнем,
женушка родная,
и пускай заложат камнем,
вдовушка честная,
ход, к монашенкам ведущий,
женушка родная,
в монастырь Святой Агеды,
вдовушка честная.
Петухи никак запели,
женушка родная?
Петухи никак запели,
вдовушка честная?
— Да уже как раз и полночь,
граф Арнау милый.
Да уже как раз и полночь,
господи, помилуй!
— Ну тогда хоть на прощанье
облегчите муку.
Ну тогда хоть на прощанье
дайте же мне руку!
— Да вы мне ее сожжете,
граф Арнау милый.
Да вы мне ее сожжете,
господи, помилуй!

Дама из Арагона

Есть в Арагоне юная дама,
солнцу равная красой;
кудри золотые вьются
до земли у дамы той.

(Ох, как искусно, Анна Мария,
Ты крадешь сердец покой!)
Кудри матушка ей чешет,
взявши гребень золотой;
каждый локон — загляденье,
чудо — волосок любой,
волосков атласные пряди
облегают стан прямой.
Ей сестричка их заплетает
гладкой, ровною косой;
косу крестная кропит ей
ароматною водой,
а невестка перевивает
разноцветною тесьмой.
С дамы брат очей не сводит,
горд красавицей сестрой;
с ней на ярмарку он едет
и, не стоя за ценой,
серьги, кольца выбирает
для сестрицы дорогой,—
от их тяжести платочек
чуть не рвется кружевной.
    «Братец, братец мой! К обедне
ты сходи, прошу, со мной!»
В храм войдет — алтарь мгновенно
блеск удваивает свой;
капли розами расцветают,
коль черпнет воды святой.
Место уступить все дамы
ей спешат наперебой;
на полу сидят все дамы,
ей же ставят стул резной.
Капеллан, забыв молитвы,
путает одну с другой;
певчий вовсе умолкает,
от смущенья сам не свой.
    «Кто ж она? Кто эта дама,
Столь прекрасная собой»?
Скажет: «Дочь»,— король французский,
здешний — назовет сестрой.
Кто не верит, пусть вглядится
в башмачка узор цветной:
арагонский герб с французским
он увидит пред собой.

Моряк

Сидит на морском берегу
юная дева,
вышивает шелком платок
для королевы.

Стежок кладет за стежком,
проворна иголка...
Работа к концу, да беда —
больше нет шелка.

Тут бригантина плывет.
«Ах, ради бога!
Шелк не везешь ли, моряк?
Дай мне немного!»

Ей отвечает моряк
сильный и смелый:
«Какой тебе надобен шелк,
алый иль белый?»

«Я вышиваю платок
пунцовым шелком...»
«Ну так взойди на корабль,
выбери с толком».

Запел моряк, и под звуки
его напева,
наскучив шелк выбирать,
уснула дева.

Корабль отплыл; тут она
от сна восстала:
глядит вокруг, а земли —
как не бывало!

Берег родной от нее
где-то далеко.
В открытом море корабль
плывет одиноко.

«Верни на берег меня,
о, сделай милость!

Мне страшно в море, моряк!» —
дева взмолилась.

«Чтоб стала ты мне женой,
взял на душу грех я...»
«Нас три сестры, но была
прекрасней всех я.

За герцога вышла одна,
за графа другая,
но стану, на горе себе,
женой моряка я.

Лишь бархат носят да шелк
мои сестры ныне,
а мне, видно, век щеголять
придется в холстине».

«Ты в золоте станешь ходить,
жить будешь безбедно:
отец мой — английский король,
а я — принц наследный.

Семь лет я тебя искал,
прекрасная дева:
я в Англии буду король,
а ты — королева».

Возвращение паломника

Спала прекрасная дама
в тени высокой сосны.
Вечерело, сместились тени,
ее ног коснулись лучи.
Пришел к ее ложу рыцарь,
не посмел ее разбудить
и свежий пучок фиалок
к ее ногам положил.
Поблекли на солнце фиалки,
проснулась дама в тот миг.
«Благородный рыцарь, не вы ли
оставили эти цветы?»
«Сеньора, много мне чести,

безвестный я пилигрим».
«Какие новости, рыцарь,
с чужбины вы принесли?»
«Одна у меня есть новость —
скончался там пилигрим».
«Не скажете ли мне, рыцарь,
какие цвета он носил?»
«Носил он плащ ярко-алый,
златую цепь на груди,
а на цепи носил он
драгоценный камень сапфир».
«О, горе мне, бедной, горе —
ведь это супруг мой был!
Не скажете ли мне, рыцарь,
далеко ли до той земли?»
«Она отсюда в ста лигах,
но трудные к ней пути».
«Его должна я увидеть,
хоть умереть, а дойти».
«Супруг пред вами, сеньора,
зачем далеко идти!»

Школяры из Тулузы

Жили в городе Тулузе
трое братьев. Братья эти
На премудром богословском
обучались факультете.
Как-то раз они, гуляя,
трех красоток повстречали
и насмешничать пустились,—
вот уж не было печали!
Разобиделись девицы
и — к судье, а суд короткий:
часа не прошло, и братья
оказались за решеткой.
Младший мечется и плачет
о школярской горькой доле.
«Полно,— старший утешает,—
наш четвертый брат — на воле,
он во Франции, в Руане
служит герцогу и Богу,
известим его, и тотчас
он примчится на подмогу.

Он убьет судью с алькальдом
и писцов, на кривду скорых...»
Но судья стоял за дверью
и подслушал разговор их.
«Ай, молчи, молчи, разбойник,
брат успеет ваш едва ли...»
Ровно в полдень дверь открылась,
им перо с бумагой дали,
а в четыре пополудни
к палачу их потащили.
Той порой на двор заезжий,
всех обдав клубами пыли,
въехал всадник. «Эй, хозяйка,
что, скажи мне, там за крики?»
«Школяров казнят сегодня,
вот же, сударь, горемыки».
«Ай, молчи, молчи, хозяйка,
то мои родные братья,
как туда, скажи, хозяйка,
поскорей бы мог домчать я?»
«Лугом, сударь, поскорее...
Да коня бы вам другого,
гляньте, ваш-то запалился...»
Соскочил он с вороного
и на белого садится.
Конь помчался легконогий,
только искры полетели...
Эй, сеньоры, прочь с дороги,
здесь беременным не место,
всадник тут, объятый гневом,
как бы меч не прогулялся
по холеным вашим чревам!
Поздно, поздно он примчался,
вот они — три мертвых тела;
он перерубил веревки,
площадь глухо загудела,
он целует милых братьев:
«Да простит господь вам, братья,
а тебе, злосчастный город,
вот оно, мое проклятье!»
Ай, злосчастная Тулуза,
поделом ей кровь и пламя!
По развалинам Тулузы
кровь судьи бежит ручьями,
кровью подлых трех гордячек

обагряются копыта...
Ай, Тулуза, ты погибла,
ты исчезла, ты забыта!

Узники Ле́риды

Как в Лериде, славном граде,
все узники вместе сидят,
сидят и поют они песню,
а было их сто пятьдесят.
Их песню слушала дева,
под окном тюрьмы затаясь.
Они ее увидали
и песню прервали тотчас.
«Что ж, узники, вы не поете,
иль вам помешала я?»
«Ах, как же нам петь, сеньора?
Темница наша страшна,
сидим без воды и хлеба,
гуляем в день только раз,
и часто злой тюремщик
гулять не пускает нас».
«Ах, пойте, узники, пойте,—
я скоро вызволю вас».
И вот с мольбой о подарке
приходит к отцу она.
«Дитя мое, Маргарида,
чем я одарю тебя?»
«Ах, батюшка мой родимый,
ключи от тюрьмы мне дай!»
«Дитя мое, Маргарида,
не быть тому никогда:
назначена казнь на завтра —
им всем петля суждена».
«Ах, батюшка мой родимый,
пощаду милому дай!»
«Дитя мое, Маргарида,
кто милый твой? Отвечай!»
«Ах, батюшка мой родимый,
он высок, и рус, и удал».
«Дитя мое, Маргарида,
его прежде всех казнят».
«Ах, батюшка мой родимый,
пусть вешают и меня!»
«Дитя мое, Маргарида,

не быть тому никогда».
Из золота были петли,
перекладина — из серебра,
вся виселица цветами
была разубрана.
Кто ни проходит мимо —
нежный вдохнет аромат,
и в память о бедном влюбленном
слова молитвы звучат.

Дон Луис

Сколько б лет еще, галерник,
я месил морскую воду,
но любовь меня скрутила,
и я вымолил свободу.
Граф покаяться велел мне
сразу, как сойду на сушу,
но, еще на сходнях стоя,
облегчил я свою душу.
К тетушке иду сначала,
наш старинный герб над входом:
«Тетушка, да вы все та же,
не осилить вас невзгодам!»
«Тот, кто это мог сказать бы,
на семь лет к веслу прикован».
«Тетушка, он — перед вами,
и свободен от оков он.
Тетушка, молю, скажите,
матушка моя здорова ль?»
«Дон Луис, она в могиле —
горя-то ведь было вдоволь».
«Тетушка, скажите, жив ли
батюшка мой? Что с ним стало?»
«Дон Луис, давно ослеп он —
слез-то пролито немало».
«Тетушка, скажите, жив ли
брат мой? Вот бы повидаться!»
«К маврам он попал в неволю,
вряд ли ты увидишь братца».
«Тетушка, а что с женою?
Тетушка, ну хоть полслова!»
«Замуж собралась мерзавка —
стало быть, нашла другого.

Завтра, говорят, венчанье —
милость им нужна господня...»
«Тетушка, молю, скажите,
дома ли она сегодня?»
«Дома, говоришь, племянник...
Дом она уже сменила,
новый-то у самой церкви,
у Святого Михаила».
«Тетушка, сейчас уйду я,
Плащ мой принесите старый,
да у вас моя гитара,
эх, отвык я от гитары».
Песню он запел, и тотчас
муж проснулся беззаконный:
«Вы послушайте, мой ангел,
что за горестные стоны,—
так могли бы петь сирены
или рыбы в море пенном...»
«Ах, сеньор, при чем тут рыбы
и зачем тут петь сиренам?!
Вы нас разлучили с мужем,
это он поет, горюя...»
«Ах, так вот вы как, сеньора!
Что ж, тогда его убью я».
«Прежде вы меня убейте —
мне одной не жить на свете!»
Муж убит был ровно в полночь,
а жена — лишь на рассвете.
И когда, ликуя, души
выпорхнули прочь из тела,
это были белый голубь
со своей голубкой белой.

Смерть Бака де Роды

Ай да честный город Вик —
чтоб его спалило пламя!
Там повешен был сеньор
самый доблестный и знатный,
благороднейший дон Бак,
Бак де Рода по прозванью.
(Да хранит нас Божья Мать
Слез и Розы всеблагая
и святой воскресный день —

день, когда схватили Бака!)
«Вас желает видеть друг»,—
так враги ему сказали;
только спешился дон Бак —
навалились всей оравой,
кинув поперек седла,
в город Вик его примчали.
Дали плотникам приказ:
сколотить для новой казни
виселицу и помост
за бульваром Девальядас.
Молвят плотники в ответ,
что ни бревен нет, ни балок.
Генерал отдал приказ:
«Бревен нет — дома ломайте!»
Из разграбленных домов
серебра несли немало —
был по городу приказ,
чтоб ворот не запирали.
Нараспашку ворота —
ни защиты, ни пощады.
К виселице подвели
связанного дона Бака,
и, взошедши на помост,
так сказал он на прощанье:
«Не за то меня казнят,
что я вор или предатель,
а за то, что говорил:
«Да живет земля родная!»
Этот ларчик золотой
пусть возьмет себе на память
пресвятой отец Рамон —
духовник и друг мой давний.
Я без страха смерть приму,
казнь меня не замарает,
только жаль мне дочерей —
их мечтал я выдать замуж;
беззащитных трех сирот —
на кого я их оставлю?»



РАМОН ЛЬЮЛЬ



Песнь Рамона

Создатель жизнь в меня вложил,
чтоб я добру всегда служил,
а я во зле коснел, грешил
и гнев господень заслужил.
Христос мне Истину внушил,
чтоб я в любви ко благу жил.

Я исповедался с утра:
покаяться пришла пора,
дабы ступить на путь добра.
Дана молитва мне, мудра,
любовь, надежда — ей сестра,—
и вот душа моя бодра.

Я школу создал, духом яр,
которой славен Мирамар:
словам Христа да внемлет мавр.
Где виноград растет и лавр,
там слезный ток и вздохов жар,
любя, принес я богу в дар.

Был мною людям разъяснен
великий Троицы канон.
Бог-сын был девою рожден,

помазанником наречен,
и, в человеке воплощен,
сошел с небес на землю он.

Чтоб грешных чад спасти своих,
смерть принял Иисус за них,
в громах вознесся грозовых;
и будет добрых он и злых
судить за все деянья их,
не слыша жалоб никаких.

К науке приобщась моей,
всяк истину познает в ней,
избегнет лжи, ее сетей:
крещенье примут иудей
и мавр, раскается злодей,
вкусив науки новой сей.

Взял крест и возлюбил я ту,
в ком Матерь грешникам я чту;
я от нее помоги жду,
когда вершу свою страду.
Любовь в душе своей блюду,
скорбя и радуясь, иду.

Я беден, стар, гоним я тут,
и мне не в помощь знатный люд;
я взялся за великий труд,
был путь мой и тернист, и крут,
и вот как справедлив ваш суд:
меня не любят и не чтут.

В любви, как в глубине морской,
хочу найти смерть и покой,
и мне не страшен никакой
злой князь, церковный иль мирской,
хоть горько, что тиран такой
сбивает с толку род людской.

Пусть бог нам вестника пошлет,
чтоб подтвердил он, вестник тот,
что бог есть человек и род
чрез деву от людей ведет;
да будет мне она оплот,
от преисподней да спасет.

Хвала тому, кто так велик!
Когда б мой пыл его достиг,
чтоб свет его в меня проник!
Но может отвратить ои лик:
грехи вершил я что ни миг
и сочинил я много кииг.

Где б ни был я, творить хочу
добро, да мне не по плечу,
и вот досадую, ропщу,
а все ж, коль правде я учу,
для книг своих я получу
у бога то, чего ищу.

Молюсь, чтоб дал мне здравье бог,
свободу, радость без тревог
и святостью меня облек,
чтоб грех какой-то, иль порок,
иль тот, кто гневен и жесток,
власть надо мною взять не мог.

Вели, творец, земле своей,
стихиям, травам, твари всей
мне не вредить в юдоли сей.
Пошли мие истиниых друзей,
всех праведней, мудрей, верней,
чтоб славе я служил твоей.

О праздности

О, праздный брат,
что ленностью объят,
в подобье смерти ищешь ты отрад!

Когда умрешь,
как ты слова найдешь,
чтоб оправдать бездельной жизни ложь?

Увы! Мой слух
к речам рассудка глух,
и каяться не склонен праздный дух,

стенать, тужить,
чтоб милость заслужить,
хоть знаю сам, что мне не вечно жить;

да вот беда:
чураюсь я труда,
хоть создан, чтоб творить добро всегда.

Когда ж и впредь
я буду в зле коснеть,
придется мне за то в огне гореть!

Об уповании

Когда денница озарит восток
и разоденется любой цветок,
чтоб красоту его умножить мог
свет упованья,
я тотчас исполняюсь ликованья
и веры в благость той, кто матерь мирозданья,
и я спешу
на исповедь и господа прошу
на путь меня наставить, коль грешу:
да повелит,
чтоб искупил я множество обид,
что сам нанес, во зло себе и в стыд,
тем, кто творит молитвы Пресвятой,
врачующей добром и красотой;
и верю: после исповеди той
всяк грех уйдет
и больше на меня не нападет,
раз господу я честный дал отчет.

Об утешении

Бог утешенье людям шлет,
напоминая им про гнет,
что претерпел за весь их род.
А мне вот утешенья нет
при виде стольких зол и бед,
бесславящих наш грешный свет.

Кто б мог без слез перенести
то, что Спаситель не в чести
у тех, кого хотел спасти?
Мне горько, что так много тех,
кто каждый день впадает в грех,
хоть ад их ожидает всех.
Кто доброго отверг, когда
он за своих испил стыда,
тому и власть любви чужда.
Бог тех утешит, кто не мстит,
кто добр, и любит, и простит,
надеется, не лжет, не льстит.
Кто набожен и терпелив,
кто верен долгу, справедлив —
утешится, пусть он гневлив.
Кто мнит, что господом любим,
но безутешен, коль гоним,—
не бескорыстен, бог не с ним.
Кто, не страшась утрат, невзгод,
радеет лишь о благе, — тот
и утешенье обретет.
Нет утешенья для того,
в ком зло познало торжество,—
бог отвернется от него.



ПЕРЕ МАРК



❃

Дни человека к смерти чередой
стремят его от самого рожденья,
и не прервется путь ни на мгновенье
во сне, на отдыхе иль за едой:
назначен срок, и вот живет он, зная,
что смерть его в небытие вернет,
в болезни, в здравье, в счастье, средь невзгод,—
но участь людям не дана иная.

Известно, не объедешь стороной
смерть строгую, напрасны ухищренья,
богатство, норов, власть, сопротивленье;
но неизвестен день кончины злой —
как, где, когда придет, всех подминая,
ни щит, ни ров, ни за́мок не спасет —
и мудреца, и дурня унесет:
мы все — одно, все та же персть земная.

Нам ведомо, что всех конец такой
ждет рано или поздно; тщетно рвенье.
Сколь быстрое у времени теченье!
Но человек не помнит правды той:
любуется собою, почитая
свой ладный стан, лик ясный, и влечет
мирская жизнь его, мирской почет,
и обольщает чувств игра пустая.

Но вспомним же, как сотворен любой.
Мы все — лишь соков мерзостных смешенье;
в нечистом лоне вспомним заточенье
и чем питает мать нас той порой,
как страждет, нас из лона извергая,
а мы с великим плачем в свой черед
вступаем в лживый мир, что обречет
на муки нас, казня и обжигая.

Что можешь ты сказать, старик гнилой?
Ведь из-за хворей жизнь твоя — мученье!
Смерть шлет тебе свое предупрежденье,
а ты внимать не хочешь вести злой.
Как в смрадном гноище свинья тупая,
в грехах своих гваздаешься, и вот
язык твой суесловит, спорит, лжет,
дух подлый у тебя, а длань скупая.

Тебе постичь умом бы и душой,
что всем нам жизнь приносит измененья:
разор — богатым, бедным — возвышенье,
большим стал малый, малым стал большой,
с недугом юный борется, страдая,
и прежде старца быстро в гроб сойдет,
а старый мнит, что льва сильнее кот,
кончины для себя не ожидая.

Лишь богу ведомо, зачем дурной,
безумец, лжец приял бразды правленья;
кто добрым был в нужде и подчиненье,
злым станет, коли лен получит свой;
монах, что в Грассе жил, свой нрав смиряя,
епископом гордыню обретет;
иному бы пасти в Террассе скот,
а он вершит судьбу большого края.

Кто хочет богу верным быть слугой
и в этом мире жить без огорченья,
пусть вверится господню попеченью
и радости не требует другой.
Бог знает сам, кому конец, карая,
или недуг тяжелый он пошлет,
и правит нами с горних он высот,
по воле испытанья избирая.

Я слышал, как промолвил, умирая,
святой отец в печали: «Счастлив тот,
кто в пастухах жизнь прожил без забот:
мирская честь нас удалит от рая».

Я, Пере Марк, к создателю взываю:
пусть мужество и волю мне пошлет,
чтоб с радостью сносил я груз невзгод
и не гордился, блага принимая.

✽

Деву чту я, коль стыдлива,
рыцаря — коль меч остер,
даму — коль наряд красивый,
а слугу — коль в деле спор,
а коня — коль пышногривый
и покорен воле шпор,
неустанный, нестроптивый.

Люб мне бег его ретивый
там, где людно и простор,
и люблю глядеть, как живо
пышет и дымит костер,—
пусть не дремлет враг кичливый,
что, затеяв ратный спор,
сжат осадой терпеливой.

В милой нрав мне люб игривый,
чтоб была не из притвор,
станом тонкая на диво,
пусть мне тешит плоть и взор,
любит пусть меня правдиво,
не за деньги иль убор,
и верна, и незлобива.

И по нраву мне учтивый,
обходительный сеньор,
храбрый, честный, справедливый,
всем открывший дом и двор
и презревший речи льстивой
низкий и ненужный сор,
щедрый и правдолюбивый.

И люблю зимой дождливой
до зари войти в притвор,
пусть ведет тихоречиво
клирик с богом разговор,
ибо пенья переливы
оглашать должны собор
лишь в день праздника счастливый.



АНСЕЛЬМ ТУРМЕДА



Восхваление денег

Если ты деньгой богат,
не засудят, не казнят —
адвокатом станет кат,
лишь тряхни мошною.

Деньги могут в мудреца
мигом превратить глупца
и тихоню в наглеца,
в грешника святого.

В деньгах корень зол и благ,
в них причина войн и драк.
Станет в церкви кто «за так»
петь «Beati quorum»?

Деток радует их вид,
преподобный кармелит
требы ради них творит,
ради них он спляшет.

Толстым выглядит худой,
если с толстой он мошной.
Только скажешь «на!», глухой
в тот же миг услышит.

Деньги — лучший из врачей.
Мавр, католик, иудей,
еретик и иерей —
все в Мамону верят.

Ради денег мир живет,
с ними дураку почет,
праведник за них солжет —
это ли не чудо!

Деньги надобно копить,
стоит ради них убить.
Сможешь ты за них купить
и престол святейший.

Избери благую цель,
набивай себе кошель.
Твердо знай: Святой Кошель
нынче правит миром.

Строфы о смуте в королевстве Майорка

ФРАГМЕНТ

Я ранним утром встал
(а было то весною)
и на коне помчал
тенистою тропою;
деревья надо мною,
как свод, сплелись, и вдруг
широкий вижу луг
с зеленою травою.

Я замер, ослеплен:
столь яркими лучами
струился небосклон;
луг был покрыт цветами.
За крепкими стенами
из тесаных камней
открылся замок мне,
сверкая куполами.

Все изумляло взгляд:
царящих над долиной

высоких башен ряд
и мощные куртины.
Прекраснее картины
припомнить я не мог.
Прозрачный плыл поток
извилистой ложбиной.

Проворны и быстры,
там рыб ловили птицы,
а в волнах осетры
резвились и плотицы,
и плыли вереницей
огромные угри,
старались пескари
поглубже в дно зарыться.

С седла я соскочил,
исполнен восхищенья,
и обойти решил
столь дивное строенье.
Вдруг слышу приглашенье:
«Вступите к нам, сеньор!»
Я кверху поднял взор,
застыв от изумленья.

В бойнице увидал
я девичьи ланиты.
Вдруг с шумом мост упал,
ворота мне открыты;
на каменные плиты
взошли семь юных дев
в нарядах королев,
что жемчугом расшиты.

На нежных шеях их
горят сапфиры, лалы,
а в косах золотых
блестят, багряно-алы,
чудесные кораллы;
ласкают мне глаза
гранаты, бирюза,
смарагды и опалы.

Мне радостен прием,
приветливый на диво;

все девы, встав кружком
взирают неспесиво,
так статны и красивы.
Тут ближе подошла
что всех милей была
и молвила учтиво:

«Вас в гости звать, сеньор,
приятно мне и мило.
Нам в замке с давних пор
так одиноко было,
печально и уныло.
Для жительниц сих мест
отраден ваш приезд»,—
и голову склонила.

Ведет меня с собой;
чуть мы с моста спустились,
ворота за спиной
со скрипом затворились,
и мне в саду явились
еще немало дев,
но вмиг среди дерев
они, смутясь, укрылись.

То был предивный сад:
лимоны, апельсины,
черешня, виноград,
орех, миндаль, маслины;
в ряд с ягодою винной —
айва и абрикос,
а с вишней персик рос,
тутовник, мандарины.

Столь пышной и густой
листвой они одеты,
что вопреки самой
природе было это,
как будто стужа лета,
как будто зимний зной.
Никто красы такой
не зрел с начала света.

Повсюду на ветвях,
листвой укрыты, пели

десятки певчих птах,
звенели и свистели,
сливая в хоре трели;
без счету голосов —
от прим и до басов —
звучали, как в капелле.

А меж дерев цветы:
тут встал нарцисс, белея,
здесь алых роз кусты,
там нежная лилея;
цвели левкои, млея,
благоухал жасмин,
душистый розмарин
ласкала ипомея.

И, солнцем осиян,
пять звонких струй вздымая,
там в центре бил фонтан;
его вода живая,
алмазами блистая,
светла и весела,
каналами текла,
чудесный сад питая.



АНДРЕУ ФЕБРЕ



✿

Равнины, горы, долы и холмы
покрыты снегом и одеты льдом,
ветра гуляют по сквозным садам,
то вдруг нагрянет ливень затяжной,
то вспенится волна, летя на брег,
не нарушают птицы тишину,
зимой не слышно трелей и рулад,—
лишь я горю, хотя и мерзнут пальцы.

Ведь я служу средь этой зимней тьмы
прекрасной госпоже, я к ней влеком,
пусть гонит прочь — всегда я буду там,
где и она, измученный тоской:
когда ж соединимся мы навек?
Я к ней одной в мечтах тянусь и льну —
пускай же все правдиво говорят,
что мы близки, как сомкнутые пальцы.

А ежели в разлуке будем мы,
что ни прикажет, выполню — притом
я ревностней в молитвах, чем Адам,
чем старец Иов или мудрый Ной,
построивший безвесельный ковчег:
ведь тот, кто искупил за всех вину,
не знал от них молений, что творят
ей мое сердце, и глаза, и пальцы.

Я счастьем одарен среди зимы,
не одарившей ни одним цветком
пустые ветви; горечь пополам
со сладостью не утоляют мой
всечасный голод; я себя обрек
на ожиданье: жду хотя б одну
записку, на которой аромат
оставили забывчивые пальцы.

Страшась презренья милой, как чумы,
молю всегда считать меня рабом.
К иным не прибегаю я мольбам:
хочу служить любви моей святой,
как ни один бы в мире человек
не смог служить,— ведь у нее в плену
душа и сердце, мысль моя и взгляд,
и даже эти страждущие пальцы.

Красавица, быть может, я навлек
немилость, но покаяться дерзну:
похитил я на память — виноват! —
колечко, что носили ваши пальцы.

И вновь меня ведет сквозь ночь и снег
великий мой правитель на войну:
отважный, он не ведает преград
в краю, где стынет кровь и мерзнут пальцы.

Баллада

Мое блаженство, горе, ангел мой!
Вдали от вас я дни влачу без цели.
Зачем же, преисполнясь добротой,
вы жизнь мою, увы, не пожалели?
Раздавленный, как жалкий муравей,
оплакал я любовь свою былую.
Нет, если я не ваш, то я — ничей:
скорее, Смерть, прерви судьбу такую!

Покинутый, обманутый судьбой,
без веры, без опоры,— неужели
отвергнут я возлюбленною, той,
какую мир не видывал доселе,

бесчувственной к тому, кто всех верней,
кто даже и не глянет на другую?
Нет, если я не ваш, то я — ничей:
скорее, Смерть, прерви судьбу такую!

Я в черный час пленен был щедротой
и сладостью, сокрытой в этом теле,
поскольку обесславлен я молвой,
гласящей, что ко мне вы охладели.
Но кто найдет желание скромней?
Я лишь по службе преданной тоскую.
Нет, если я не ваш, то я — ничей:
скорее, Смерть, прерви судьбу такую!

Любовь моя, вернитесь поскорей —
я красоты и благости взыскую.
Нет, если я не ваш, то я — ничей:
скорее, Смерть, прерви судьбу такую!

❁

Тот день, что отделил меня от вас,
и сердце отделил мое от плоти;
без сердца я — но вы его найдете:
оно при вас, владычица, сейчас;
вот почему я к вам, моей сеньоре,
печалясь, посылаю свой упрек:
от сердца моего я так далек,
что с каждым днем мое сильнее горе.

Два сердца с вами — их не различить
под вашей властью, правой и счастливой;
но ежели какой-нибудь ревнивый
соперник их помыслит разлучить,
вы моему сначала прикажите,
и вступится оно за вашу честь,
и будет эту службу с честью несть —
оставьте страхи при такой защите!

Два сердца бьются рядом, без препон,—
поэтому я жив, пока вы живы:
мое в разлуке сердце обрели вы,
а я в разлуке был его лишен;

и посему не ведайте сомнений —
нет сердца у меня другим дарить,
зато вдвойне вы можете хранить
мне верность, оградясь от оскорблений.

Послушливее сердца в мире нет,
клянусь вам, благородная сеньора:
все сделает легко и без укора,
лишь бы любить вас до скончанья лет
наперекор любому, кто блаженство
при виде вас не может ощутить,
и ваше целомудрие почтить,
и оценить все ваше совершенство!

Всё краше вы; ваш мимолетный взгляд
в душе рождает грезы и посулы;
не знаю от Испании до Пулы
я никого, кто вами в плен не взят;
вы самых дерзновенных за собою
уводите, встречая на пути;
любовь, молю: спаси и защити
мое завоеванье всеблагое!

Мой ангел, красота преград не знает:
кто беден — вам за благость воздает,
кто знатен — почитает вас, но тот,
кто благороден,— вас обожествляет.

Посылка

Мой ангел, не возьмет меня могила,
молитесь — и осилю все мученья.
Пречистой Деве сладостны моленья —
ах, если бы и мне в них место было!

К походу на мавров

Сирвентеск

Исполненный печали непомерной,
бесстрашный голос прозвучал в зените:
«О христиане! Или смерть примите,

иль оградите господа от скверны!
Гроб присно славный держат басурмане
в своей неверной скинье год за годом —
их покоряя праведным походом,
явите бога в славе и в страданье!

Пришла пора святого воздаянья —
да будет в мире власть креста отныне!
Кто поруганью предавал святыни,
где б ни был, не избегнет наказанья.
Пусть будет отвоевана Гранада,
пусть нехристей настигнет ваша ярость,
чтоб ни следа в долинах не осталось
от этого злокозненного стада!..»

Вперед! Нам уготована награда:
с язычниками битву начинаем,
веселие победы нашей чаем —
а большей чести и желать не надо!
Ждет иноверцев вечная геенна,
оружием сразим их и проклятьем,
отмщенья теперь не избежать им,
поскольку наша мощь благословенна.

Вся бездна преисподней постепенно
заполнится лавиной нечестивых —
сумеет удержать ли, поглотив, их,
чтобы никто не вырвался из плена?
Тогда сам дьявол может испугаться,
не успевая справиться со всеми.
Но мы воскликнем: «Наступило время
еретикам в пучину погружаться!»

Подобно палым листьям, что кружатся
под жарким ветром, дующим с востока,—
арабам, туркам, маврам из Марокко
под натиском святым не удержаться.
Захватим их селенья и мечети
в сраженье беспощадном и суровом,
покуда мавры именем Христовым
не ввергнуты в расставленные сети!

О Матерь Божья, ты одна на свете
прибежище взыскующего сердца:

любого одолеем чужеверца,
когда услышишь ты молитвы эти.
Пускай любовь спасителя и сила
нам ниспошлют твое благоволенье,
чтобы за нашу веру и раденье
ты всех нас вечной жизнью одарила.



ДЖОРДИ ДЕ САН ДЖОРДИ



✽

Всегда со мною ваш прекрасный образ,
он сердце веселит мне днем и ночью,
затем что, вашей красотой любуясь,
я в памяти запечатлел ваш облик,
и даже смерть над ним теперь не властна,
а коль придется мне сей мир покинуть,
могильщики мои воочью у́зрят
над мертвым ликом знамение ваше.

Как малое дитя с душой безгрешной
пред алтарем в восторге замирает,
завороженное блистаньем злата,
и боле ничего не хочет видеть,
так я, любуясь всею статью вашей,
не нагляжусь на ваши совершенства,
и подле вас я забываю бога,
в любовное блаженство погруженный.

Любовь оковы на меня надела,
в темницу ввергла; я как будто заперт
на все запоры в сундуке дубовом,
и не под силу мне освободиться,
зане любовь питаю к вам такую,
что сердце так льнет к вам и так страшится

хоть на минуту разлучиться с вами
и крепко лишь любовью к вам, голубка.

Вы столь пленительны, сколь величавы,
и красота, вам данная от бога,
блистательней каменьев драгоценных,
мучительней и беспощадней терний.
Среди подруг подобны вы рубину,
что прочие каменья затмевает,
иль ястребу, что воспаряет в небо
высоко над пернатыми другими.

Вся плоть моя истомлена любовью,
какой не ведал ни один мужчина;
любви такой, что в сердце мне проникла,
ни в чьей груди доселе не бывало.
Я от любви, как мудрый Аристотель,
пылаю и лишаюсь разуменья;
и с вами я повсюду неразлучен,
как с кельею монах, как палец с ногтем.

О смилуйтесь, прекраснейшая дама,
правдивая и чуждая злонравья!
Не допустите от любви погибнуть
того, кто любит вас сильнее прочих,
вам делавших подобные признанья;
вы — дерево с животворящей сенью,
примите же меня под вашу кущу
и знайте: ваш я ныне и навеки.

Бесценнейший рубин, вы благородством
затмили всех на белом свете сущих,
затем что в вас единой воплотилась
вся доблесть и краса Пентисилеи.

✽

О госпожа, я так по вас томлюсь,
но грустно мне от ваших взоров милых,
и на сердце тяжелый давит груз,
поскольку и помыслить я не в силах
о том, что вскоре окажусь в пути
и с красотою вашею в разлуке,

что должен распрощаться и уйти —
и горестней для сердца нет докуки.

Я предпочел бы смерть свою найти,
как Иоанн Креститель, в лютой муке,
чем тяготы прощания снести;
я, как безумец, воздеваю руки,
предвидя сей томительный обряд,
и дружеским не внемлю уговорам,
то плачу, то смолкаю невпопад
иль отвечаю непонятным вздором.

Такой любовью ныне я объят,
что нет спасенья мне в отъезде скором:
когда расстаться судьбы нам велят,
то суждено мне горе, над которым
не властны ни душа, ни разум мой,
и пусть вовеки вас не повстречаю —
но, устремляясь к стороне чужой,
я сердце вам свое препоручаю.

Быть может, поглощен морской волной,
в лодчонке утлой дни мои скончаю,
вблизи не находя души родной,
свиданья с вами более не чая.
Иль, удален от той, кого я чту,
я не перенесу разлуку нашу
и на чужбине гибель обрету,
до дна испив отчаяния чашу.

Пред господом я славлю красоту
и добродетель редкостную вашу;
пред господом я славлю ныне ту,
которая всех женщин в мире краше;
пред господом я славлю ту, чей взгляд
о чести нам твердит в земной юдоли;
прекраснейшее из господних чад,
я поручаю вас господней воле!

Посылка

Царица чести! Я служить вам рад,
будь на галере я иль на престоле,
а если в чем пред вами виноват —
да не спасусь от самой тяжкой доли.

*

В чужих стенах и в стороне чужой,
с родными и сеньором разлученный,
и телом несвободен, и душой,
всех благ лишенный, скорби обреченный,
не ведая, где ныне все друзья,
ни помощи не видя, ни участья,
я здесь томлюсь; скорбит душа моя,
но есть отрады у меня в несчастье.

Был роскошью пресыщен прежде я,
а ныне, у тюремщиков под властью,
ценю превыше пышного шитья
те цепи, что стянули мне запястья.
Пускай судьба неласкова ко мне,
но все ж не прокляну моей темницы,
затем что здесь со мною наравне
немало доблестных мужей томится.

Я утешаюсь тем, что на войне
служила королю моя десница.
Враги числом нас превзошли вдвойне,
но бились мы, как подобает биться.
Утешен я и тем, что без утрат
не знал бы, сколь бесценны обретенья,
и все же горько мне, что дни летят,
а мы напрасно чаем избавленья.

Я все бы претерпел, но во сто крат
невыносимей то, что в заточенье
мы о событьях судим наугад
и подкрепить надежду на спасенье
нам нечем; и печалюсь я о том,
что в просьбах Сфорца смысла нет нимало,
и оттого слабею с каждым днем,
иссяк задор и мужество пропало.

То, что всечасно вижу я кругом,
всю цену для меня бы утеряло,
когда б не бог, которым я ведом,
чья длань меня в невзгодах поддержала,
и не король, что нас отсель спасет,
поскольку все мы знаем несомненно:

кто честно послужил сеньору, тот
сеньором будет вызволен из плена!

Посылка

О государь, вы рыцарства оплот!
Так не забудьте тех, кто неизменно
в бою готов был положить живот,
оружьем защищая сюзерена.

Спор между глазами, сердцем и рассудком

Красавица моя! Вы столь желанны
и сердцу, и рассудку, и глазам,
что спор ведут все трое беспрестанно,
кто более из них любезен вам.
Я им помочь не в силах, право слово,
и так они пылают все втроем,
что распрями допечь меня готовы,
и я сгораю, мнится мне, живьем.

Глаза твердят, что упредят любого
в искусстве оценить вас, да притом
их доля незавидна и сурова:
они вам часто жертвовали сном
и слезы проливали дни и ночи,
а если вы являлись им во сне,
то мучились они еще жесточе,—
и с ними соглашаюсь я вполне.

А сердце, глаз нимало не пороча,
твердит: невместно быть нам наравне,
мол, этот свет, что источают очи,—
не в них самих горит он, а во мне.
К тому ж глаза в любимой зрят отраду,
а сердце горевать обречено,
и потому, признать по чести надо,
заслуживает первенства оно.

Рассудок утверждает, что награды
те двое недостойны все равно,
а он, рассудок, дни и ночи кряду
воспоминанье пестует одно,
не ведая ни отдыха, ни срока,
где вы, что́ вы, гадая и казнясь,
но не таит ни одного упрека,
а только служит вам и славит вас.

От спорщиков дождаться трудно проку!
Вся троица пред вами напоказ:
вот сердце, уязвленное жестоко,
глаза, что слезы точат всякий час,
рассудок, угодивший в злые сети,
и я погиб, коль тою же рукой,
что навязала мне раздоры эти,
не будет вновь дарован мне покой.

П о с ы л к а

О дама Изабель, зачем в секрете
вы держите доныне выбор свой?
Все трое страждут пуще, чем от плети,
вас в судьи призывая вперебой.

В т о р а я   п о с ы л к а

Я, Изабель, молю вас об ответе,
не в силах сладить с пыткою тройной:
скажите — кто вам всех милей на свете?
Решите спор и сжальтесь надо мной!

Тоска

Тоска, томленье, грусть меня язвят
с тех пор, как мне пришлось покинуть вас:
ни в чем не нахожу былых услад,
и мир лишился для меня прикрас.
В разлуке с вами жизни я не рад,

печалюсь и не чаю облегченья,
и слезы мне, и вздохи грудь теснят,
и смерть вот-вот прервет мои мученья.

Когда от вас, любовию объят,
я уходил, красавица моя,
на ваш балкон стремя прощальный взгляд,
от горести едва не умер я.
На страсть мою наложен был запрет,
и я простился с вами поневоле,
терпя страданья, коим равных нет,
скорбя и плача о моей недоле.

И ныне я терплю немало бед
от тех, кто разлучил, ревнуя, нас,
но стоит мне увидеть вас, мой свет,
я обо всем забуду в тот же час.
Богат любовью, счастьем обделен,
я вижу: мне без вас не жизнь, а мука,
и так я в вас, прекрасная, влюблен,
что смертью угрожает мне разлука.

Хотя от вас я ныне удален,
но лишь о вас помыслю — вы со мной;
и грудь мою стесняет горький стон,
а в теле трепет чувствую живой;
вам сердце отворяю я, и в нем
родится крик: «Где вы, моя сеньора?
Мое блаженство, так я к вам влеком
и так тоскую, что исчахну скоро!»

Когда же засыпаю мирным сном,
вас вижу вновь, как наяву точь-в-точь,
и мнится мне наутро, что вдвоем
мы пробыли, красавица, всю ночь.
И оттого вся жизнь моя полней,
веселием сменяется тревога,
и я пою, и вас люблю сильней,
и вас достойней становлюсь немного.

Посылка

Вы властны, Изабель, в судьбе моей:
пусть ради вас я претерпел так много,
но знайте, лишь смогу — стрелы быстрей
я к вам примчусь обратно, недотрога.

Вторая посылка

Я сам с собой в разладе много дней,
но пусть воспрещена мне к вам дорога —
чем горше сердцу, тем оно верней
и верность вам хранить сумеет строго.



АУЗИАС МАРК



✽

Где сыщешь ты спасительный совет,
о сердце, если жизнь тебе — помеха?
Ты любишь слезы и не любишь смеха —
как вынесешь ты боль грядущих лет?
К чему дни жизни длить несовершенной?
Смерть ждет тебя, навстречу ей спеши:
все дальше от тебя приют души,
когда от смерти ты бежишь блаженной.

Она манит отдаться ей смиренно
и слезы радости струит из глаз;
мне слышится ее певучий глас:
«Мой друг, покинь сей дом, чужой и бренный
Тебе дарю я высшую из льгот,
досель не ведомую детям праха:
ведь я спешу лишь к тем, кто полон страха,
но медлю с теми, кто меня зовет».

Жизнь на себе власы, рыдая, рвет,
и вопиет, и со смятенным ликом
она сулит мне в ужасе великом
именья, изобилие щедрот,
но зов ее мне страшен и докучен,
как смерти зов — избраннику судьбы:

кто свыкся с болью и тщетой мольбы,
тому и голос смерти сладкозвучен.

Дивлюсь: любой влюбленный неразлучен
с надеждой гордой; но когда бы он
узнал, какой любовью я сражен,
он был бы опытом моим научен.
Любовь кляня, все дали бы зарок
губительной не поддаваться власти,
но расскажи я о блаженстве страсти —
и проклянут дни без ее тревог.

К кому еще Амур был так жесток?
Я тяжко ранен горестной любовью;
исходит, истекает сердце кровью,
скудеет животворной влаги ток
от горькой скорби, и душа больная
целенья и подмоги не найдет:
я изнемог под бременем невзгод,
но чашу скорби изопью до дна я.

Лилея средь чертополоха, знаю,
что жизнь свою в сем мире я избыл:
лишась надежд, я душу погубил,
и кара мне назначена земная.

✿

Пусть радуется праздникам народ,
хваленья богу множа и забавы,
пусть внемлет песням о деяньях славы,
толпясь в садах и близ градских ворот,
а я пойду бродить среди надгробий
и с душами погибшими вступлю
в беседу, ибо я один делю
плач тех, кто страждет в адовой утробе.

Всяк ищет в мире сем свое подобье,
а посему чуждаюсь я живых;
они же, устрашась скорбей моих,
как мертвеца, бегут меня в ознобе.
Царь Кипра к нехристю попал в полон,
но безнадежнее мой жребий странный:

вовек мне цели не достичь желанной,
и мой недуг не будет исцелен.

Был Прометей к утесу пригвожден,
и сколько птица печень ни клевала,
плоть, вырастая вновь, не убывала;
но я на муку горше осужден:
мне гложет сердце червь, палач умелый,
другой мне гложет мозг, и не прервут
они вовеки свой жестокий труд,
раз мне счастливого не знать удела.

Когда б, взяв жизнь мою, смерть не посмела
виденье взять, что мне всего милей,
я ныне б не был благодарен ей,
что не в земле мое нагое тело,
познавшее блаженство лишь в мечтах,
алкавшее блаженства неустанно;
но лишь тогда любить я перестану,
когда душа навек оставит прах.

И если есть мне место в небесах,
мне надобно — дабы сбылось желанье —
не только зреть владыку мирозданья,
но знать, что вы в раскаянье, в слезах
услышали весть о безвинной смерти
того, кто принял муки ради вас;
будь так, я встретил бы последний час,
как самый жданный в дольной круговерти.

Лилея средь чертополоха, верьте:
смерть от любви — не выдумка моя.
Узнав, что смертью этой умер я,
Правдивость вести правдой чувства мерьте.

❀

Пусть паруса и ветры по волнам
стремят меня к желанной цели вдаль;
взъярятся, знаю, Запад и Мистраль,
Сирокко и Левант помогут нам:
Грек с Австром, их друзья в краю морском,

умолят Север нам не дуть во вред
и внятером, оборонив от бед,
да понесут нас в гавань прямиком.

А море, что котлище с кипятком,
всклокочет, изменив свой вид и цвет,
обрушит гнев свой на любой предмет,
что по его поверхности влеком;
и рыбы в перепуге заснуют,
и выбросятся на берег они,
покинув море, дом свой искони,
чтоб на земле сыскать себе приют.

А люди бога молят, слезы льют,
суля дары из воска,— искони
так повелось; и все, о чем они
смолчали в исповеди, скажут тут.
Мне ж помощь божья лишь затем нужна,
чтоб в грозный час душа была тверда,
чтоб вы со мною были и тогда,
когда бушует ярая волна.

Мне лишь разлукой с вами смерть страшна:
смерть для любви губительна всегда;
но верю все ж — ничем и никогда
не будет страсть моя побеждена.
Вы мало любите, а я ревнив
и знаю: в смерти буду я забыт —
вот что меня и мучит, и страшит,—
но не бывать тому, пока я жив!

Когда ж умру я, пусть любви порыв
вам станет чужд, пусть вам она претит.
Мне лишь одно обида из обид:
не видеть вас, земную жизнь избыв.
О, почему лишь там любви предел,
где одиночество мне суждено?
О вашем чувстве знать лишь вам дано:
страшусь, но ждать бы лучшего хотел.

Я выше всех влюбленных залетел:
превыше — лишь один, он мертв давно,

а я живу, и сердцем я равно
сношу о смерти мысль и свой удел.
Готов я к доброй участи и к злой,
но от меня судьба отводит взгляд,
и жду, бессонный, близ открытых врат,
в смирении ответ готовя свой.

Платить мне, знаю, дорогой ценой
за обретенье высшей из наград,
но жизнь свою я сберегать не рад
и пусть случится худшее со мной.
Тогда поверят люди, что себя
решился я во власть любви отдать;
и чтоб слова делами подтверждать,
упорен буду, жизнь свою губя.

Любовь, тебя познаешь не любя —
дано мне чувствовать тебя, не знать;
со мною ты скупа на благодать,
с игрою в кости я сравню тебя.

✽

Мечтами упивается иной,
в безумье обретая наслажденье,—
вот так и я храню в воображенье
лишь прошлое, оно всегда со мной;
и знает скорбь, меня подстерегая,
что все равно во власть к ней попаду:
я от грядущего добра не жду,
и лишь в былом дана мне часть благая.

Я пору нынешнюю отвергаю,
влюблен в ничто, в минувшее давно —
вот радость, что познать мне суждено,
и без нее в скорбях изнемогаю.
Так осужденный смертной казни ждет,
и свыкся он давно с такою долей,
но вот прельстят его пощадой, волей —
и без отсрочки смерть к нему грядет.

Пусть лучше жизнь моя во сне пройдет:
мысль умертвив, бог усыпит страданье!
Злосчастен тот, кому врагом — сознанье
и с ним лишь о докуках речь ведет,
а коль захочет дать ему отраду,
как неразумная поступит мать:
дитяти та не в силах отказать,
коль с плачем у нее попросит яду.

Уж лучше бы терпеть мне годы кряду
одну лишь скорбь, не добавляя к ней
ту память о блаженстве прежних дней,
что порождает горечь и досаду.
Увы мне! Радость в скорбь обращена,
удвоит муку отдых сей ненужный;
вот так, отведав лакомства, недужный
с любою пищей боль вкусит сполна.

Отшельник, позабывший времена,
когда в миру среди друзей он жил,
не вспомнит то, чем прежде дорожил,
коль с гостем не воскреснет старина.
И выйдет вновь минувшее на свет,
и в настоящем оживет оно,
но гость ушел, и на душе темно,
и скорбь спешит за радостью вослед.

О ясная умом, коль много лет
любви, ее, как червь, разлука гложет,
и только твердость выстоять поможет,
завистник же подаст худой совет.

Шестая песнь о смерти

Я некогда себя влюбленным мнил,
но вижу, сколь мала любовь моя,
хотя ее великой счел бы я,
когда бы с большинством себя сравнил;
но коль припомню славные дела
всех данников любви былых времен,

нет места моему средь их имен,
и мною не заслужена хвала.

Она, кого любил я, умерла —
свидетель смерти, я остался жить,
хоть должен был бы ей вослед спешить,
когда б великою любовь была.
Идти путем возлюбленной готов,
желал бы, мнится мне, того — и все ж
я вижу сам, желанье это — ложь,
ведь смерть приходит, коль от сердца зов.

Когда ее скрыл гробовой покров,
молил я смерть, судьбу свою кляня:
«Состражди страсти, не оставь меня!» —
и я не умер после этих слов.
О сердце черствое, что в этот час
не захлебнулось в собственной крови!
Побольше благости, чуть-чуть любви —
и горе выставлено напоказ.

Кто б полной мерой выстрадал, молясь,
всю скорбь, которой смерть облек господь?
О зло жестокое, истлишь ты плоть,
велишь — и молодость оборвалась!
Страшась, что вечность мук — его удел,
дух отлетит неведомо куда;
услады все исчезнут без следа.
Какой святой пред смертью не робел?

И кто бы полной мерой восскорбел
о смерти собственной или чужой?
Ту боль никто не ощутит душой,
тем паче тот, кто смерти не хотел.
О зло жестокое, что разлучит
сердца, стучавшие так долго в лад!
Мир чувств моих смятением объят,
меж тем как дух бесчувственно молчит.

Друзей мое страданье огорчит,
завистника порадует оно:
ему блаженство находить дано
в чужой беде, коль случай улучит.

Я стражду, как могу, и боль терплю,
а чуть забудусь, сам себе я мщу;
услад и радостей я не ищу,
о вечном плаче господа молю.

И все ж не так уж мало я люблю,
чтоб не влажнить слезам лицо мое:
грущу, коль вспоминаю жизнь ее,
и о кончине, как могу, скорблю.
Вот все, что я могу,— рассказ правдив;
и я бы предпочел, не утаю,
скорей утратить мысль, чем скорбь мою,
но коль не мертв я, слаб любви призыв.

Невелика любовь того, кто жив,
хотя его любимой больше нет;
пусть помнит это и покинет свет,
затворника прозванье заслужив.

Песнь

Коль без тебя нам нет к тебе дороги,
дай руку мне иль за волосы вздерни,
а коль моя рука твоей не ищет,
втащи меня к себе хотя б насильно.
Хотел бы я идти к тебе навстречу,
да не могу, а почему — не знаю:
свобода воли мне дана, нет спора,
я сам не ведаю, что́ мне помехой.

Хочу восстать из праха — и не в силах,
тому причиной — тяжесть прегрешений;
покуда смерть не вынесла вердикта,
прими меня в число твоих, Всевышний;
пусть сердце черствое мое смягчится
твоею кровью, исцелившей стольких,
кто маялся подобным же недугом;
но медлишь ты и, стало быть, разгневан.

Не столько разумом я согрешаю,
сколь отягчаю волю я виною.

О, помоги мне! Но мольбы — безумье:
ты тем поможешь, кто себе поможет,
и тех, кто тянется к тебе, ты призришь,
для них твои объятия раскрыты.
Что делать мне, коль помощи не стóю
И, знаю сам, стараться б мог усердней?

Прости, что говорю с тобой в безумье!
Слова мои порождены тревогой.
Страшусь я ада — и к нему иду я,
хотел бы возвратиться вспять — не властен.
Но помню я: разбойнику спасенье
ты даровал, хоть и не по деяньям,
и дух твой веет, где тебе угодно,
а как и почему — не ведать смертным.

Пусть я дурной христианин на деле —
в том не виню тебя и чужд я гнева;
я знаю: все, что ты содеешь, — благо,
ты прав, даруя жизнь и смерть даруя,
ты справедлив во всех твоих веленьях, —
безумен тот, кто на тебя восстанет.
Любовь ко злу, неведение блага —
лишь из-за них тебя не помнят люди.

Тебя молю я укрепить мне сердце,
чтоб с волею твоей я слил желанья,
и коль от мира мне немного проку,
подаждь мне силы, чтоб его отринуть,
и дай вкусить хоть малую частицу
услад, что праведнику ты даруешь:
пусть плоть моя, мятежница слепая,
обрящет утоленье и уймется.

О, помоги мне, боже! Двинуть пальцем
я не могу без твоего веленья!
Так прочно зло во мне укоренилось,
что кажется мне горькой добродетель.
О, сжалься, боже! Обнови мне дух мой —
он по моей вине к добру не склонен;
и если смертью искуплю грехи я,
она мне будет сладким покаяньем.

Во мне любовь к тебе слабее страха,
и сознаюсь я в прегрешенье этом;

моя надежда смущена тревогой,
а чувства все — в неистовом боренье.
Ты справедлив и благ, я это вижу,
и вижу: ты мирволишь недостойным,
по прихоти одаришь, обездолишь —
дрожит и праведник,— мне ль не страшиться?

Коль Иов праведный страшился бога,
что делать мне, погрязшему в ошибках?
В аду не существует время, знаю,—
и ужас чувствую при мысли этой.
Душа сотворена, чтоб у́зреть бога,
и вот, узрѐв, кощунственно бунтует;
такое зло под стать не человеку —
и где же, кто идет путем подобным?

Молю тебя, жизнь сократи мне, боже,
покуда худшего я не изведал;
живу я в скорби — и развратной жизнью,
и вечной смерти я страшусь безмерно.
Зло — в мире сем, в том — вечное мученье.
Возьми меня, когда сподоблюсь блага:
не знаю, что за польза мне в отсрочке —
пред странствием не ведают покоя.

Скорблю о том я, что не в должной мере
скорбеть могу о муках бесконечных:
ведь скорбь подобная чужда природе,
нам не познать ее и не измерить.
Но если так, то жалки оправданья,
что ада не страшусь, как подобает;
алкаю неба я, но рвеньем скуден;
слаб страх мой — и слаба моя надежда.

Коль представляешься ты нам гневливым,
тому виной — неведение наше;
ты милостив всегда и неизменно,
что мнится злом, на самом деле — благо.
Прости мне, боже, что тебя винил я,
я признаю, что я один виновен:
твои деянья зрел я оком плоти —
так одари слепую душу зреньем!

С твоею волею моя в раздоре,
я враг тебе, когда хочу быть другом.

О, помоги мне в этой злой напасти!
Не мерь заслуг моих, иль я отчаюсь;
не в радость мне, что жизнь так долго длится,
и страшно мне, что ей предел положен;
живу скорбя: мое желанье слабо,
а мой рассудок помрачен смятеньем.

Ты — тот предел, где кончатся пределы,
то благо ты, что мерою всем благам,
и тот не добрый, кто с тобой не сходен.
Кто угодит тебе, тот имя бога
и человечность высшую обрящет,
твоею волей став тебе подобным,
тогда как тот, кто дьяволу потрафит,
да примет имя своего владыки.

Коль цель конечная есть в этом мире,
она не истинна, не осчастливит:
она ведь — лишь начало завершенья,
насколько нам судить доступно, смертным.
Философы, что сами жизнь прервали,
в разладе с миром были и с собою,
а стало быть, им правда не открылась
и людям проку нет от их учений.

Коль есть благое в иудейской вере
(она ведь райских врат не отворяет),
то лишь одно: она — начало нашей
и вкупе с ней единство образует.
И всякая людская цель желанью
не даст ни отдыха, ни завершенья,
но без нее мы высшей не достигнем:
Предтеча возвестил нам о Мессии.

И тем, кого прельщает цель иная,
не знать покоя, не обресть опоры;
всем ведомо, и тонкости излишни:
лишь ты один хотенья утоляешь.
Как реки устремляют бег свой к морю,
так все в тебе пресуществятся цели.
Чтоб возлюбить тебя, подаждь мне силы:
пусть страх мой превозможется любовью!

А коль приять любовь я не способен,
усиль мой страх, дабы не смел грешить я:
отринув грех, отрину я привычки,
что от любви к тебе меня уводят,
и те, кто от тебя меня отторгли,
да сгинут, ибо жизнь мою сгубили.
Продли мне дни, молю тебя, о боже:
мне кажется, на путь я вышел верный.

Как оправдаться мне перед тобою,
когда держать ответ в смятенье буду?
Ты мне дорогу указал прямую,
а я ее серпом опасным выгнул.
Хотел бы распрямить, да не под силу —
так помоги мне, всемогущий боже;
какой удел ты мне готовишь, знать бы:
ты зришь его, хоть он сокрыт в грядущем.

Молю тебя мне ниспослать не здравье,
не милости природы и Фортуны,
но лишь любовь к тебе, великий боже:
я знаю твердо — нет завидней блага.
Неведома мне высшая услада,
покуда не готов ее постичь я,
но знает самый грубый из мужланов,
что в мире ни одна с ней не сравнится.

Когда страшиться смерти перестану?
Когда воспламенюсь к тебе любовью,
что невозможно без презренья к жизни —
соделай так, чтобы свою презрел я,
и все, что ныне мне на плечи давит,
окажется внизу и под стопами:
кто львиного не убоится когтя,
тому осиное не страшно жало.

О боже, умертви во мне все чувства
чтоб никаких желаний я не ведал,
не только грешных и богопротивных,
но даже тех, что для тебя не важны.
Хочу я думать о тебе едином,
хочу искать к тебе прямой дороги —
соделай так: и если отступлюсь я,
к мольбам моим замкни свой слух навеки.

Не дай скорбеть мне о мирских усладах —
ведь эта скорбь любви к тебе мешает,
а я в плену докучливой привычки;
в былом я отягчил себя грехами,
но я не хуже многих нерадивых,
кому ты дал все то, о чем прошу я;
молю тебя, ко мне проникни в душу,
ведь ты входил и в худшие, Создатель.

Католик я, но холод чувств ленивый
мне не дает согреться жаром веры,
а я потворствую безвольно чувствам
и верю в рай умом да по уставу.
О да, мой дух всечасно наготове,
но чувства медлят, чуждые познанью;
так помоги же мне, пусть пламя веры
зажжет все то, что холодом объято.

Меня ты создал, чтобы спас я душу,
и знаешь, верно, что ее гублю я.
Коль так и есть, зачем меня ты создал,
ведь знанье твое непогрешимо?
Верни меня в небытие, всевышний,—
всё лучше, чем страдать в темнице вечной;
я верю — как сказал ты об Иуде,—
что лучше б не родиться человеку.

О, если б умер я, приняв крещенье,
не возвратился бы в объятья жизни,
а сразу заплатил бы долг свой смерти
и ныне б никаких не знал сомнений!
Страшатся ада смертные сильнее,
чем наслаждений рая вожделеют:
познали муки мы, по ним и судим,
а рая чувствами познать не можем.

Дай силы мне, чтоб отомстил себе я:
тебе перечил я — и я виновен.
А не смогу — карай мне плоть, всевластный,
но дух щади, ведь он — твое подобье.
Но наипаче сделай твердой веру,
неколебимой сделай ты надежду.
Тогда исполнюсь я любовью к ближним;
а коль взмолюсь о плоти, ты не внемли.

Когда же сердце наконец смягчится
и обольюсь я сладкими слезами!
Раскаянье — вот их родник извечный,
вот ключ, что нам врата небес откроет;
а покаянье — горьких слез источник,
любви в слезах тех меньше, больше страха;
и все ж пошли мне горьких в изобилье,
они — надежная дорога к сладким.



ДЖОАН РОЙС ДЕ КОРЕЛЬЯ



Баллада цапли и орлицы

Я цаплю видел: белый хохолок,
сама зеленонога, черноока,
без пары, без товарок, одинока...
Глядел и наглядеться я не мог.
А близ нее орлица: гордый вид,
и перья, словно перлов переливы,
но чтоб ее живописать не лживо,
едва ли в мире сыщется пиит.
И вот, послушны сладостному ладу,
два голоса пропели мне балладу:

«Я печалюсь и на свете жить
не хочу ни дня.
Если вы не станете тужить,
смерть мою кляня,
чем тогда мне в жизни дорожить?

А когда погибну ради вас
от любовных мук,
вы поймете, отчего угас
преданный ваш друг,
и оплачете мой смертный час.

Потому и не хочу я жить
более ни дня:

если вы не станете тужить,
смерть мою кляня,—
нечем мне на свете дорожить».

✽

Подымется над миром бурный ветер,
небесный свод падет, разбившись, наземь,
в лазури горнее померкнет пламя,
земля разверзнется и явит недра,
окрасится луна кровавым цветом,
и твердь земная разлетится пылью
скорей, чем я служить вам стану вновь.
И сам я с головы до ног пред вами
пусть буду на куски живьем растерзан,
и не дождется плоть моя могилы,
и праха моего земля не примет;
и пусть ничей язык не повернется
промолвить надо мной: «Покойся в мире»,
когда на вас я снова брошу взгляд.
А если к вам я обращу хоть слово,
будь проклят день, в который я родился,
пусть имя, что дано мне от рожденья,
людскому роду станет ненавистно,
и самый звук его прейдет в забвенье,
и сгинет жизнь моя, как ветер в поле.
Пусть все, чему я верил, будет ложью
и я из мира пропаду бесследно,
а если не исчезнет это тело,
пускай пожрут его лесные звери,
пусть разорвут они меня на клочья,
и вся земля моей могилой будет,
и в Судный день моей не сыщут плоти,
дабы восстать из мертвых я не мог.

✽

Златые буквы на моем надгробье
о вашем торжестве расскажут миру,
о том, как жизнь погибшую мою вы
прервали добродетельным убийством.
Из мрамора изваянный пред вами,

коленопреклоненный и смиренный,
я трону все сердца, и люди скажут:
«О как жестока эта добродетель,
что устоять могла перед влюбленным,
сгоревшим от любви, как новый феникс!»

А вы оцепенеете, безгласны,
подобны изваянию Елены:
на пальце будет перстень с изумрудом,
в руке зажата ветка гибкой вербы,
на ветке станет горевать голубка;
меж ирисов прочтут такую надпись:
«Осмелься я отринуть добродетель —
лишь вы одни меня б на то подвигли,
но зло не должно зачинать в надежде,
что от него родиться может благо».

Боясь греха, меня вы оттолкнули,
и уж теперь таить от вас не стану,
как настрадался я, моля у бога,
чтоб из темницы вывел вашу душу,
столь схожую во всем с моей душою.
И дрогну я, изваянный из камня,
когда прочтет прохожий на надгробье:
«Мысль обо мне вас плакать научила».
И коль не мог я посвятить вам жизни,
то с ней расстанусь я без сожалений.

Моление о любви

В одной лишь вас я вижу исцеленье,
лишь к вам любовь питаю, для которой
вне вас не существует утоленья.
Я следую души моей веленью:
служить вам и признать своей сеньорой.

Кто сна лишился, вам служить желая,—
скорбит, одной надеждою дыша;
кто вам готов служить, любя,—
тот вам не назовет себя:
ведь он лишь тело, в коем вы душа.
Когда любовь соединит двоих,
одна лишь смерть разъединяет их!

вы сами в том убеждены,
слова здесь не нужны.

Судьба моя у ваших ног отныне,
и, вам вослед спеша,
мой разум всюду с вами.

О сердце, за какое зло
меня ты смертной муке обрекло!
Кто, кроме вас, измерит эту муку!
Подайте мне, молю, спасенья руку
и верьте, что придет для нас
уединенья час
и мы сказать сумеем
все, что сказать теперь еще не смеем.



ФРАНСЕСК ВИСЕНС ГАРСИА



✽

О, сколь в кругу враждебных сил слаба
моя недостижимая удача.
Дразня надеждой, призрачно маяча,
к какой беде влечет меня судьба?

К чему за славу тщетная борьба?
Зачем она манит, коварно пряча
злой привкус смерти, безысходность плача?
Ведет к могиле всех одна тропа.

Коль для великих мира и для малых
удел один, коль в жизни нет блаженства,
коль все перед Фортуною равны,

тщету отринь и не томись в печалях,
стремись Того постигнуть совершенство,
чей трон превыше Солнца и Луны.

К черноволосой красавице, которая на плоской крыше дома причесывалась гребнем слоновой кости

Она на крышу плоскую взошла,
и злато дня померкло перед нею;

по волосам, что тьмы ночной чернее,
слоновой кости гребнем провела.

И шею, что, как первый снег, бела,
смоль делала еще стократ белее;
светлей слоновой кости и нежнее
ее рука прекрасная была.

Влюбленно наблюдал я из укрытья,
как белизна и тьма, вступив в сраженье,
кто краше, спорили между собой,

но вдруг, встревожась, захотел просить я,
дабы никто не ведал пораженья,
закончить перемирьем дивный бой.

К даме, которой поклонник, когда она страдала от жажды, подал кувшин с водой

Той, что во мне огонь зажгла,
сжигающий меня дотла,
принес я милосердный дар,
чтоб погасить в себе смогла
она мучительный пожар.
Чуть нежным ртом, багряней лала,
к воде прекрасная припала,
от ало-пламенного блеска,
как будто в Кане Галилейской,
вода вином тотчас предстала.

Эпитафия

Здесь покоится белый монах.
Всеблагим небесам не за страх,
а за совесть служил он и свято
дослужился до сана прелата.
Он бывал и у Феба в гостях.

От трудов его праведных силы
в нем иссякли осенней порой
по пути из Гранады домой.
Но болтают, что путь до могилы
сократил он чрезмерной едой.



ФРАНСЕСК ФОНТАНЕЛЬЯ



На смерть Нисы

О рок, стрелой пронзивший грудь мою!
Ты обломал стрелу без сожаленья
и, нежное отбросив опереньe,
дал в сердце погрузиться острию.

Отдавшись горестному забытью,
я вижу зорь моих былых затменье,
и тьма мне заволакивает зренье,
и смертных мук я больше не таю.

Бесчеловечной скорби тяжкий камень!
Исход счастливый для души уставшей!
Забвенье мне навеки подари!

Ударь и высеки последний пламень,
жизнь в сердце погаси стрелой застрявшей
и взор зарею вечной озари!

Разочарование

Годы жизни проходят,
шаг их неуловим:
годы нас догоняют,
мы — за жизнью спешим.

Годы мчатся к пределу
нам отмереиных лет,
умирать начинаем,
чуть родимся на свет.

Все иачала — коиечны,
вечеи круговорот:
и к последиему вздоху
первый вздох приведет.

Время — глупый младенец,
время — старец хромой,
улетает на крыльях,
убивает косой.

И мы видим со страхом,
как в песочиых часах
время прахом струится,
превращая нас в прах.

В колыбели жемчужной
точит слезы родник:
ои от урны сапфириой
отделеи лишь на миг.

Оборвет половодье
пеиье струй в роднике,
иль он в реку вольется,
растворится в реке.

Вот корабль горделивый
смело режет волну,
но, застигнутый бурей,
вдруг идет он ко дну.

В беге жизни неверной,
в тусклых сумерках лет
дремлет древнее чудо —
жизни первый рассвет.

Пред фиалкой подсолнух
высится, исполин,
но им саваном общнм
станет белый жасмин.

Дивным благоуханьем
наполняет сады
дух карминной кометы,
дух жемчужной звезды.

Но и розам шипами
жизни не защитить
от невидимой Парки,
обрезающей нить.

Огневая гвоздика,
ирис — гордый цветок
отцветут неизбежно
в им положенный срок.

Пусть заря понапрасну
не ликует, горя:
ведь из краткости ночи
возникает заря...

Птичий хор пусть не будит
полунощную тень,
ведь из мрака ночного
нарождается день...

Нам подвластное время
ускользает от нас:
с каждым прожитым часом
смерти близится час.

И столь быстро мельканье
ускользающих дней,
словно вовсе их не было
в жизни моей...

Хоть с надеждой встречаем
мы грядущие дни,
но наступят и канут
в мрак забвенья они.

Благотворно забвенье
для испытанных бед:
память их не достанет
со дна прожитых лет.

Все черты и все краски
растеряв на бегу,
сам себя распознать я
сам в себе не могу.

Не таким меня создал
всемогущий господь,
но божественный образ
влил он в грешную плоть...

Преждевременным трупом,
схоронившим мечты,
жизнь влачу, погруженный
в скорбь мирской суеты.

Вместо света — потемки,
тело — высохший сук,
вместо пламени — пепел,
сердце — скопище мук...

Но уж скоро прощаться
нам с юдолью земной
и в другой жизни, вечной,
ждет нас вечный покой.





XIX век

БОНАВЕНТУРА КАРЛЕС АРИБАУ



К родине

Прощай, земля родимая, прощай навек,
прощайте, гордые лазоревые горы,—
прикованы к вам вечно наши взоры:
ваш обрести покой желал бы человек.
Прощай и ты, Монсень. Седые тучи, снег
твою главу венчают; ты, наш страж бессонный,
взираешь вниз, во тьму расщелины бездонной,
в безбрежном море судна созерцаешь бег.

Я знал твое чело в дни юности моей,
как только можно знать лицо отца родного,
и мне была знакома речь ручья любого,
как голос матери иль плач моих детей.
Уже не видеть мне родной земли полей,
не слышать горных рек гортанного напева,—
так аромат своих цветов теряет древо,
безжалостной рукой лишенное корней.

Насмешница судьба! Куда ни кину взгляд —
повсюду вижу я кастильских башен стены;
отныне песни трубадуров вдохновенных
до слуха моего — увы! — не долетят.
Что ж, вновь извилистый увижу Льобрегат,
быть может, поднимусь в родные горы снова,—
но, кроме славных песен времени былого,
ничем я не утешусь, ничему не рад.

Мне — наслажденье говорить на языке,
на коем писаны земли моей законы,
девизы воинов, что в битвах непреклонны,—
хотя бы и висела жизнь на волоске.
Будь проклят тот, кто, оказавшись вдалеке
от родины, язык родной знать не желает,
чье сердце — если он о доме вспоминает —
не замирает в горькой муке и тоске.

Язык родной! Я с материнским молоком
его впитал, с ним жизни мне пройти дорогу,
на нем я ежедневно обращаюсь к богу
и думы еженощные мои — на нем.
Лишь мой родной язык моей душе знаком,
а значит, скверна лживых слов ей не знакома,—
и вновь душа моя к прекрасному влекома,
и песнь рождается и жжет уста огнем.

Рождается — и жаждет выразить она
любви священный жар и горечь злой разлуки.
О, языка родного сладостные звуки,—
как будто юность мне моя возвращена!
Рождается — и, гордых помыслов полна,
она всем странам возвещает величаво,
что языка родного не померкнет слава —
ни в наши дни, ни в будущие времена.



ДЖОАКИМ РУБИО И ОРС



Волынщик с Льобрегата

«Если бы тебе король
отдал скипетр и корону,
багряницу и знамена,
трон резной в сиянье злата,—
ты покинул бы, волынщик,
ради царства край родимый,
и напевы в честь любимой,
и леса у Льобрегата?

Если б мавританский царь
перлов дал тебе отборных,
свой гарем и жен покорных,
полные чудес палаты,—
променял бы ты на них
хижину свою простую,
вольным ветром обжитую
над стремниной Льобрегата?

Если бы всесильный маг
дал тебе чертог воздушный,
быстрых духов рой послушный
в звездном замке, им заклятом,—
позабыл бы ты, волынщик,
снег, туман и водопады,

предрассветные прохлады,
вскормленные Льобрегатом?»

«Нет, подружка, мне милей
красный плащ мой домотканый —
царской мантии багряной,
шитой жемчугом богато;
и чертогов мавританских
мне дороже отчий кров,
весь в убранстве из цветов,
что растут у Льобрегата.

Белоглавый пик Монсень,
снеговые перевалы
и коралловые скалы —
вот моих дворцов палаты,
и студеною зимой,
жарким очагом согреты,
мы готовы до рассвета
слушать сказки Льобрегата.

Если б даже мне король
отдал скипетр и корону,
багряницу и знамена,
трон резной в сиянье злата,—
не покинул бы вовек
ради царства край родимый
и напевы в честь любимой
я, вольнищик с Льобрегата!»



ДЖОЗЕП ЛЬЮИС ПОНС И ГАЛЬЯРСА



Апельсиновые сады в Сольере

Тень от густых деревьев —
усталому телу услада;
плоды, созревая, желтеют,
словно бы слитки злата.
Садов апельсиновых в Сóльере
благословенна прохлада.

Ветер влагу приносит
с моря, что плещется рядом,
вплетает он запах моря
в благоухание сада.
Садов апельсиновых в Сольере
благословенна прохлада.

Славки снуют среди листьев,
ничто им в саду не преграда;
а горлицы радуют взоры
своим белоснежным нарядом.
Садов апельсиновых в Сольере
благословенна прохлада.

Звенят соловьиные трели,
звучит за руладой рулада,
и вторить птичьему пению
вода журчащая рада.
Садов апельсиновых в Сольере
благословенна прохлада.

Высятся над равниной
гор надменных громады;
в ущельях — мрак, а вершины
солнце палит без пощады.
Садов апельсиновых в Сольере
благословенна прохлада.

Вонзаются в небо скалы —
гордым орлам отрада;
в грохоте горных обвалов
молкнет шум водопада.
Садов апельсиновых в Сольере
благословенна прохлада.

Укрыт ручеек тополями
от солнца пылающих взглядов,
ветру усталые ветви
в покое оставить бы надо.
Садов апельсиновых в Сольере
благословенна прохлада.

В сердце — любви ожиданье,
нет с миром сегодня разлада;
пусть завтра еще не настало,
вчера — ушло без возврата.
Садов апельсиновых в Сольере
благословенна прохлада.

Олива Майорки

Мне поведай, олива,
в этот час сокровенный и сердце щемящий,
о прошедшем, что живо
в песнях кроны твоей, надо мною шумящей.

На кремнистой вершине,
к узловатым и сильным корням припадая,
уповаю, что ныне
утешенье мне даст твоя жизнь вековая.

Под лазурью небесной
легкокрыло листва надо мною струится,
ты — как символ чудесный
мирной жизни, что нам в городах только снится.

Словно ангела локон,
серебрится твоя величавая крона;
но случалось: жестокой
бурей ветви ломало в ночи разъяренной.

В стародавние годы
поднялась ты, чуть видная в вешнем тумане —
диво нашей природы,—
помогал тебе жить селянин-мусульманин.

Приходил он весною
насладиться душистых цветов ароматом;
днем осенним с семьею
собирал он оливки над склоном покатым.

Гром войны! Боль и горе!
Не увидеть сынам Магомета здесь солнца;
враг сильнее; и вскоре
свои земли араб уступил арагонцам.

Слезы в сердце вскипали:
«Нас простите, оливы родимого края»,—
остров свой покидали
всей семьею — младенцев к груди прижимая.

Кони — в облаке пыли,
только ветер над полем пустым вслед им свищет;
где селения были —
только дым подымается над пепелищем.

Под тенистою кроной
отдыхает барон — сколь приятна прохлада!
И собаки барона
улеглись, и не сводят с хозяина взгляда.

В предвкушенье полета
ветвь когтями сжимает надменная птица —
ястребиной охотой
здесь владелец поместья умел насладиться!

Позже здесь, на вершине,
лунной ночью монах появлялся смиренный;

и поиыие в долиие
монастырские высятся мертвые стены.

Колокольного звоиа
в тихом воздухе плыли медлительно звуки,
под уснувшею кроиой
он молился, сложив у груди своей руки.

А теперь под оливой,
позабыв обо всем, пастушок замирает,
и, влюбленио-счастливый,
на свирели над мириой долииой играет.

Козы, вытянув шеи,
объедают побеги оливы весенней,
но овечкам милее
с круторогим бараном пастись в отдаленье.

Вечен полог твой, древо,
ты — целитель того, кто исполнен печали,
твоей кроиы напевы
утешеиие мне, одииокому, дали.

Виовь в душе моей живы
уповаиья, что в юности знал я далекой,—
так побеги оливы
наполняются снова живительным соком.

Жизиь моя — лишь мгновеиье,
и плоды твои ветер развеет, играя;
всё прейдет, без сомненья,—
ты все так же стоять будешь, вечио живая.



ДЖАСИНТ ВЕРДАГЕР



Дон Джауме на Сан-Джеронимо

Чтобы взором объять Каталонию,
Джауме Первый, король арагонцев,
на суровый пик Сан-Джеронимо
восходит с восходом солнца.
Под стать исполину — башня,
под стать изваянью — подножье!
Одни орлы здесь гнездятся
на жестком каменном ложе;
они только небо видят,
он видит и землю тоже.
Широка она и прекрасна,
его сердца страсть и забота!
В его небе — птицы и ангелы,
на полях его — тучные всходы,
его праздники подданным в радость,
сплочены они в семьи любовью,
у границ его — зоркие стражи,
в его гаванях наготове
так и ждут попутного ветра
флот военный и флот торговый.
Его рощи волна целует,
льнет звезда к челу венценосца
под огромным крылатым небом —
под шатром короля-колосса.
Ему крепостью — край Пиренейский,

а престолом — высокие горы,
а периной — зеленые чащи,
а коврами — цветущие долы,
по которым привольно вьются
ручейки, сливаясь в потоки,—
словно стайка угрей серебристых
в изумрудном резвится поле.
Видит он берега Льобрегата
и Бесоса пышные рощи —
узнает их по зелени яркой,
словно по аромату розу.
Города вкруг него толпятся,
словно стадо овечек кротких,
ввечеру утоливших жажду,
ожидающих утра в дреме.
Ему шепчет о Ле́риде Льена,
о кормилице Рима в прошлом
Альбиоль говорит о древней,
как сама земля, Таррагоне,
Пучмаль говорит Серданьях,
двум кошницам с цветами подобных,
Монсень — о Жероне и Вике,
Альбера — о Росельоне,
Урхель — о золоте житниц,
о градирнях белых — Кардона,
Монжуик — о самой любимой
изо всех городов Барселоне.
Он глядит — и ширится сердце,
восхищенное Каталонией.
«Что мне сделать для родины милой? —
взговорил он, любовью полон. —
Пожелай звезду она с неба —
я достану, вот мое слово!»
«Не хочу я звезды небесной,—
отвечал ему тихий голос,—
у меня на челе сияет
та звезда, что затмила все звезды.
Отними двух сестер у мавра,
им похищенных мне на горе,
когда одна собирала
у моря перлов пригоршни,
а другую в лебяжьей стае
заприметил стервятник-коршун».
Голубиным оком он глянул —
разглядел вдалеке Майорку

в ореоле лучей рассветных
парящей меж небом и морем.
Валенсию он не увидел,
различил у черты окоема
валы вкруг садов султанши
вместо стен и башен дозорных.
Он из ножен меч вынимает,
его голос рокочет громом:
«Отчего вы не сбросили ига,
сестры милой моей Каталонии?
Я к ногам своим кину мавра,
что посмел вас держать в полоне!»
Если б видели его мавры,
убежали бы, пленниц бросив,
как бежали они без оглядки
прочь от милой его Каталонии,
когда Роланд в нечестивых
с Канигó запустил шестопером.
Он к земле лицо обращает,
с кем беседовал, ищет оком:
золотой алтарь у Пречистой
есть в молельне самой высокой;
у Пречистой уста раскрыты,
больше нет никого в часовне.
Острый меч он с себя слагает,
на колени падет с мольбою:
«Помоги мне, дева Мария,
полонянкам вернуть свободу!
Дай руке моей мощь и крепость,
дай отваги сердцу крутому!
Меня звали Джауме Прекрасным
до того, как взошел я на гору,—
стану Джауме Завоеватель,
коль вернусь к тебе,— вот мое слово!»

Sum vermis

Non vivificatur nisi prius moriatur.

E carcere ad œthere.
Dant vincula pennas.

Воззри, о боже, под стопы свои
на бренное, бессильное, нагое
ничтожество, затерянное в бездне.

Я, жалкий червь земной, на миг единый
пришел в сей мир, чтоб копошиться в персти.
Мне колыбелью было семя праха,
и прах мой новым семенем падет.
Мне нечего отдать тебе, о боже!
Ты ж возлюбил меня ничтожно малым,
лишенным и провидéнья, и славы.

Ты властен надо мной: развей меня
сухой листвой по ветру иль росою
на чахлую былинку урони,
а хочешь — сделай жертвой для закланья.
Пусть я — ничто, тебе принадлежу я,
я твой, и лишь тебе — любовь моя.
Ты властен надо мной, я ж недостоин
подножья твоего — так вырви древо
бесплодное с корнями, и разбей
меня, и сокруши, и уничтожь!

Придите ко мне, печаль и муки,
мой крест, мое сокровище и радость,
возвысь меня, укрась гвоздями длани!
Венчай меня, Голгофы горький лавр!
Сегодня для меня вы непосильны,
но завтра мне даруете блаженство.
Страданне, пронзи меня шипом;
укрой меня покровом, поношенье;
забрызгай очи грязью, клевета;
ты, нищета, влачи меня в пыли.

Хочу я быть комком дорожной глины,
чтобы меня всечасно попирали;
хочу, чтобы меня, как сор ненужный,
бросали из дворцового окна,
с высокой башни — в черный, смрадный ров.
Дорогу к высоте мне прегради —
не стану я роптать; пусть будет бедность —
сокровищем моим, и униженье —
величьем, и страданье — блаженством.

Отныне стану я копить насмешки
и оскорбленья — перлы и топазы
для своего небесного венца.
Умри, меня измучившая плоть,—
я изнемог под ношею твоею;

тебя пожрет могила и вернешься
во прах, из коего ты вышла, ибо
ничтожен я, sum vermis et non homo.

Я с хлопотливой гусеницей схож,
что, поедая листья шелковицы,
себе из шелка ткет роскошный саван.
Я тку свой саван из пеньки страданий;
но в коконе гробницы, Иисусе,
преображусь, как ты — от смерти к жизни,
и радужные крылья обрету,
чтобы с тобой к твоей подняться славе.

Марина

**Стихи, сочиненные в заливе Де лас Вегас
на погребение в море девочки
по имени Марина, родившейся на корабле
и умершей через несколько часов
после рождения**

И раскатился залп над ширью моря;
ужели никогда
вновь не зажжется в голубом просторе
рассветная звезда?

И ты, малютка, вместе с той звездою
до света рождена;
тебе уступит солнце красотою
и белизной — луна.

Теперь ты нас ведешь, голубка рая,
над кораблем летя
и в край желанный курс нам пролагая,
блаженное дитя!

Не плачь в своей лучистой колыбели —
мать для тебя споет,
твою тоску о неземном пределе
улыбкой отведет.

Мы в раковине, в завитках певучих
тебе гнездо совьем —
найдет нам солнце лучшую из лучших
в морском саду своем,—

и будешь ты на арфе из коралла
играть меж звезд морских,
чтоб наши души песня исцеляла,
чтоб океан затих.

Матросы, взвейте вымпелы скорее
над пеной парусов,
гирляндой фонарей украсьте реи
и радугой флажков!

Корабль, как белый лебедь, бьет крылами
под колокольный звон,
и в час крещенья небосвод над нами
весельем озарен.

Внимает пастырю простор безбурный,
его святым словам,
и тихим эхом вторит свод лазурный —
нерукотворный храм.

И, сотворив над ней обряд старинный
с суровой простотой,
нарек по праву девочку Марииной
наш капитан седой.

Печальную молитву прерывая,
вздохнула тихо мать:
«Слетели божьи ангелы из рая
мое дитя отнять.

Что, если в этот миг, когда мы плачем,
там — счастлива она
и смотрит, улыбаясь нам, незрячим,
с небес, как из окна,

как будто хочет нам сказать улыбкой:
«Не плачьте в скорбный час!
Зачем мне с вами плыть пучиной зыбкой?
Жду в гавани я вас!»

Но, мертвая, ужель она забудет
мою любовь? Ужель
одна волна моей малютке будет
и гроб, и колыбель?»

Ее бы море приняло сиреной
и ангелом — земля;
но бог промолвил: «Сей цветок бесценный
себе оставлю я».

Не повидав земли, к иной отчизне
ты правишь свой полет,
минуя море этой горькой жизни,
в края, где льется мед.

На белоснежных крыльях к новым зорям,
как чайка, улетай,
не насладившись ни землей, ни морем,
скажи: «Навек прощай!»

Скала Дьявола

В ночь пред новым годом
так и жди беды;
пляшут в блеске молний
черные боры,
и раскаты грома
рушатся с вершин.
Знать, задумал дьявол,
расшатав гранит,
опрокинуть глыбу
с гор на монастырь.

Каменной кувалдой
дьявол кряж долбит,
бьет в скалу тараном —
дубом вековым,
рвет ее когтями
и клыком крушит,
воет и хохочет,
плачет и визжит.
Пусть, в утес вгрызаясь,

камень в прах крошит —
может, обломает
когти о гранит.

Боже! Накренился
к бездне верх скалы!
Где же Та, что аду
противостоит?
Иноков от смерти
снидет ли спасти,
станет ли покровом
кротких чад своих?

Иноки страшатся
козней сатаны,
Темноликой Деве
шлют они мольбы:
«Дьявол нас обвалом
хочет раздавить!
Слышишь ли Ты, Мати,
грозный гул лавин?
Гонит их нечистый
к нам на монастырь!
Миг еще промедлишь —
и погибли мы!
Помоги нам, Мати,
мы твои сыны!»

И достигли рая
иноков мольбы —
мать ли не услышит
зова чад своих?
Золотые цепи
с неба пали вниз,
шаткую громаду
мимо пронесли.
Гром семижды грянул —
и кусок скалы,
пролетев над храмом,
рухнул с крутизны,
и паденья грохот
бурю перекрыл.

Вспенились потоки,
воды вспять пошли,

Льобрегат взметнулся,
вышел из теснин;
содрогнулись кручи
и зубцы вершин,
чая, что приходит
их последний миг.
Иноки вскричали:
«Чудо! Спасены!
Близ Тебя, Мария,
бури не страшны,
ибо нас покровом
осеняешь Ты!
Мати, сколь твоими
сладко быть детьми!»

А скала, надежно
утвердясь, стоит
под спасенным храмом,
над волной реки.
Под скалою дьявол
заключен в тиски.
Он ревет, как прежде,
нет лишь прежних сил:
каменная глыба
на его груди,
на разбитых лапах —
рухнувший гранит.

Розалия

Fulcite me floribus, stipate me
malis: quia amore langueo.

Поутру выходит в сад
Розалия,
чтоб нарвать букет гвоздик,
белых лилий.
Видит — Мальчик рвет цветы
светлоликий.
«Не бери моих цветов,
мальчик милый!»
«А зачем тебе цветы,
Розалия?»
«Иисусу я бы их
подарила».

«Ну, а я их подарю
своей милой».
«Для нее в моем саду
есть крапива,
не отдашь цветы добром —
вырву силой!»
Отняла — смеется он,
ясен ликом;
понимает Иисус
вашу хитрость:
это хитрости любви,
ее игры.
«За цветы мои тебе
дам другие».
«Лучше сердце подари
мне девичье!»
«Но и ты взамен свое
подари мне!»

Так и сталось; вдруг она
чувств лишилась —
видно, счастье было ей
не по силам.
А предатель соловей
тайну выдал
звонкой трелью, рассыпным
переливом.
Вышла матушка, слезу
уронила,
как увидела без чувств
Розалию.
«Что с тобой, мое дитя,
приключилось?»
«Роза сладостным шипом
уязвила».
«Я булавкой золотой
его выну».
«И алмазной не извлечь
шип незримый».
«Чем тебя мне исцелить,
свет мой милый?»
«Розой, ранившей меня,
и гвоздикой».
Мать постель ей среди роз
постелила.

«Отчего вздохнула ты,
свет мой милый?»
Дочь — ни слова ей в ответ,
одержима
тем, кто прячется меж роз
и гвоздики,
улыбаясь ей, бежит
между лилий.
Расцвели в лугах цветы,
небо сине.

Калиновый цветок

Слушай сказочку, дружок,
про калиновый цветок,
как затеял он не впрок
потягаться белизною
с Приснодевою самою.

«Сгинь, дерзкий цветок,
рассыпься, исчезни! —
сказал ему бог.—
Стократ тебя полезней
трава с тобою рядом,
истоптанная стадом!»

Ах, бедный цветок,
безуханный лепесток!

Роза вслух его порочит,
рядом с ним цвести не хочет,
и промолвил красный мак
так:
«Лучше под копытом сгину,
лишь бы не видать калину!»

Ах, бедный цветок,
до чего же ты поблек!

Все его любили очень,
но когда увял цветок —
кой в нем прок?

Прежде был он свеж и сочен
и собой гордился он,
А теперь он выжжен солнцем
и скотиной обойден.

Зачем поют матери

Квартал — бедней не сыскать,
жилье — не сыскать смиренней,
и там распевает мать,
подобно птице весенней.

Дитя она к сердцу жмет
и старую песню звонко
о Деве с Младенцем поет,
и стихли крики ребенка.

А мужу больному не встать,
лежит без сил на матраце:
вчера, чтоб не голодать,
с кроватью пришлось расстаться.

Они без подушек спят,
им нечем укрыться даже:
иное пошло в заклад,
иное снесли на продажу.

Ни крошки хлеба в дому,
ни дров — обогреть жилище;
тому и печь ни к чему,
кто в ней не готовит пищу.

Скамейки мать лишена,
и нет колыбели у сына,
но все же поет она,
и горько вздохнул мужчина:

«Зачем ты, сердце мое,
так весело распеваешь?
Печально наше житье,
всех бед и не сосчитаешь;

ведь все, что было у нас —
драгоценности, деньги, платье,—
все сгинуло в трудный час,
осталось одно распятье!

Семье не кормилец я —
уж смерть стоит за спиною;
боюсь — схоронив меня,
уйдешь и ты вслед за мною.

Без матери, без отца
что станется с нашим сыном?
Не сыщет в зной деревца...
О господи, помоги нам!

А ты поешь среди бед,
хоть нет для веселья причин.
Зачем ты поешь, мой свет?»
«Пою, чтоб не плакал сын».



АНЖЕЛЬ ГИМЕРА



Год тысячный

И было это все в тот год, когда
снега на склоны гор желтевших пали,
большие предвещая холода,
и птицы край родимый покидали.

Монахи по дорогам шли гурьбой,
грехи поспешно встречным отпуская,
и за высокой крепостной стеной
их, робких, поглощала тьма густая.

Дни напролет сладчайший фимиам
клубами восходил над алтарями,
псалмы читали старцы по ночам —
и гулкий воздух вздрагивал во храме.

Звон колокольный был на стон похож;
в дар церкви злата отдано немало;
вассалов зябких колотила дрожь,
но пламя очагов — не согревало.

И вороны у городских ворот
не сживали — не было им пищи;

и серну замечал теперь народ
нередко рядом со своим жилищем.

Красавица лукаво у окна
не слушала признаний страсти нежной.
Где милый паж? Одна лишь тишина
во тьме царила истинно кромешной.

Оружье побросав, из крепостей
бежали воины — в великом страхе,
и ветер приносил с пустых полей
лишь запах злаков, гибнущих во прахе.

Повсюду блеск сменился нищетой,
знамена покрывались слоем пыли;
кувшины издавали звук пустой —
а прежде вина славные в них были.

От голода народ везде слабел,
и превращались в кладбища селенья;
торговец, разложив товар, скорбел —
никто не брал ни мех, ни украшенья.

В портах — в тенетах тинистых — суда
стояли без команды, неподвижно,
сквозь щели проникала в трюм вода —
лишь плеск воды в борта и было слышно.

Почти что месяц без еды и дров;
чтоб приготовить хоть немного пищи,
в безумье горожанин был готов
и дом свой сжечь... Да где съестное сыщешь?

...И день настал. И на исходе дня,
след черный оставляя за собою,
звезда, что ослепительней огня,
промчалась над испуганной землею.

На запад, к сумрачным вершинам гор,
промчалась — и струился свет далеко;

мгновенье — глядя на людей в упор —
над ними вечности горело око.

Затем огонь неистовый угас,
и звезды в дымном мраке заблистали;
не подымая боязливо глаз,
гурьбой бежали люди и рыдали.

Их лица — снега белого белей.
Бежали — без дороги и без цели,
из хижин, из дворцов, из крепостей —
одной толпой. И саваны надели.

И прижимали матери к груди
младенцев и шептали заклинанья,
калеки ковыляли позади,
ни в ком не вызывая состраданья.

Толкал вперед людские толпы страх,
во храмах переполненных толкались.
И не горел огонь нигде в домах,
и злобным ветром двери растворялись.

И пробил час. И трижды в темноте
труба пропела. Звук взлетел стрелою.
Был час суда. Спаситель на кресте
восславлен был трепещущей толпою.

И сердца стук услышал человек —
как будто бьет по наковальне молот.
Все замерло. Никто не поднял век.
И каждый ощутил мертвящий холод.

Мерцало пламя восковых свечей,
и, жалобно крича, под куполами
метались птицы, мглы ночной черней,
и закрывали витражи крылами.

И вдруг — пришел в движение народ...
так нарастает на море волненье...
бежал, вновь замирал, бежал вперед,
назад, смолкал и вот — внимал в смятенье.

Тот час прошел. И в молчаливой мгле
сокрылась тайна. И природой мудрой
мир был ниспослан небу и земле.
И новый год настал. И было утро.

Померкли звезды и огонь лампад;
на запад туча поплыла устало.
Се — петухи по всей земле кричат.
Восток горит. Пылает. Солнце встало.

Вновь возвращайся к жизни, род людской;
пусть не о смерти скажут эти строфы;
ты крест несешь, измучившись душой,
но далеко — путь долог! — до Голгофы.

О древо жизни! Обвивал не раз
младой побег твои сучки сухие;
тебя страшит лишь дровосек сейчас,
но опасаться надо бы стихии.

Жив человек, и божий чтит закон,
а против бога бунт поднять решится —
на смерть не будет грешник осужден:
он должен жить и лучше становиться.

Любовь горит над миром, высока.
И лестницей Иакова лучистой
над человеком высятся века.
О род людской, иди — вот путь твой истый.

✽

Кубинской земли герои!
Оковы разбить вам пора;
к свободе со страстной мольбою
взывает ваша сестра!

✽

Каталония, матерь святая,
иль отваги в сердцах наших нет?!
Прежде бились мы, честь защищая,—
сколько знали мы славных побед! —
а теперь, грязь с лица отирая,
просим несколько жалких монет.



ДЖОАКИМ МАРИА БАРТРИНА



Послание

Amaro e noia
la vita, altro mai nulla, e fango é il mondo

Мой друг, когда ты мне и вправду друг,
не только по названью, то послушай
печаль мою; но если эгоизм,
подобно древоточцу, подточил
ствол старой дружбы — брось мое письмо:
не тронут эгоиста эти строки!

Суть в том, что я не верую. Для веры
не нахожу в себе ни сил, ни воли.
Все, что я вижу,— ложь. Не постигаю,
в чем смысл того, что вижу я вокруг.
Я провидения читаю знаки,
разгадываю свет далеких звезд,
сверкающих в глубинах мирозданья,
но я чужой не разгадаю взгляд
и не могу прочесть чужое сердце.

Как вере уцелеть, когда в сем мире
находишь только ложь и лицемерье?
Блеск репутаций, дутая их слава —
картонные злаченые доспехи —
обманывают только близоруких.
Стоит в сторонке скромно добродетель,

а наглое невежество в почете:
так сор и грязь со дна всплывают пеной,
а тяжесть перлов скрыта в глубине.

Возвыситься! Ползком, но вверх! Известно,
что высота не только для орлов —
к вершинам и рептилия всползает.
Но тварь бескрылая, высот достигнув,
напрасно будет устремляться выше:
одна дорога ей с вершины — вниз.
О, сколько их! Пусть их не порицают,
но столь силен их страх пред общим мненьем,
что даже запечатал им уста!

Другие — лишь ступени под ногами
у властолюбца; и слывут за честных,
хотя сообщниками преступленья
становятся, поскольку малодушны,
не могут увязать причин и следствий
и, попуская злу, свершают зло.
Крестьянин равнодушно наблюдает,
как вырубают лес, и рубит сам,
была бы выгода; а хлынет ливень —
тогда ничто не сдержит воду с гор,
и вздувшиеся реки заливают
поля, и земледелец разорен!

Одни из нас — преступным равнодушьем,
другие — преднамеренным злодейством
устроили из мира царство лжи.
Но что об этом скажет юность? Если
коснеют в эгоизме старики,
кому же, как не юным, перестроить
на благо людям наш негодный мир?
Чем заняты те юноши, чье имя
обязывает их служить примером?

Скажи, не этот ли ревнитель моды,
смешных капризов и привычек раб —
один из них? О голове его
печется не учитель — парикмахер;
он друг плясуний и тореадоров,
он меценат и любит повторять,
что он рожден чудовищем (поскольку
чудовищами женщин он зовет).

Прогулки, гости, игры и театры —
а труд? О том и думать недосуг!
И это homo sapiens Линнея!
Коль все мы таковы, то Справедливость
к нам не сойдет до божьего суда!

Скажи мне, где среди ему подобных
найду я истину и добродетель?
В народе, скажешь ты? А где народ?
Не эта ли горластая толпа,
чей Атеней — на площади корриды?
Не уличная ль дикая стихия,
ревущая: «Да здравствует свобода!»,
раба своих безудержных страстей,
что ныне вознесшего кумира,
глумясь, сжигает завтра на костре?

Я верю: добродетель есть, поскольку
есть и порок. Но где ее найти?
Не в городах больших, ничтожно малых
для добродетели: ведь ей пристало
в сердцах у праведников пребывать.
Поистине, невмоготу ей видеть
нелепый фарс, который представляют
перед людьми большие города!
Актеры — боги древнего Олимпа —
сегодня там проказничают всласть:
Мом сбросил Талию с подмостков сцены;
торгуют Музы скобяным товаром;
к художнику Венера нанялась
в натурщицы, хотя сегодня мода
боготворит не красоту, а Фурий;
Вулкан теперь обслуживает Парок —
военные машины мастерит;
на Бирже храм себе воздвиг Меркурий
и с одобрением оттуда смотрит,
как Купидон, сорвав с очей повязку,
ведет расчет, дабы не впасть в просчет.

Прав Купидон! Сегодняшние люди
расчетливы и ценят лишь проценты,
и тот из них, кто золотом владеет,
тот верит крепко в самого себя —
в ничтожного божка, скажу меж нами!

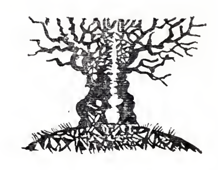
И чем безверье лечить? Прогрессом,
что сквозь столетия минувшей славы
ведет нас к первобытному истоку?
Так, изойдя из океана, капля
мир обойдет и в океан вернется.
А человек, от первобытных стойбищ
уйдя вперед, ужели не сумеет
огромное сегодня расстоянье
меж разумом и сердцем сократить?
Он, отделяющий алмаз от угля,
сумеет ли, отъяв от эгоизма
любовь, украсить ею свой венец?

О, если бы! И станет человечным
мужчина, станет женщина — святою...
Сегодня же они несовершенны.
И пусть в их душах теплится добро —
от добрых дел их эгоизм отвадит.
Он — как пожар: что не спалит дотла,
то замарает копотью и сажей.

А ты — счастливец! У себя на ферме,
вдали от городов живешь спокойно,
и зимним вечером, что мне приносит
одну тоску, сидишь у очага
при свете жарко пышущих поленьев,
и между тем как над твоим младенцем
поет жена, ты учишь нас примером
и в бога веровать, и предков чтить;
и зимний ветер, задувая в щели,
колышет волосы твоих детей
и до тебя доносит с гор высоких
тот запах, по которому тоскую, —
смолистых сосен терпкий, свежий дух.



ДЖОАН АЛЬКОВЕ



Отчаяние

Могучим деревом я высилось когда-то,
давало я приют жнецу в июльский зной.
Вихрь оборвал с меня все ветви по одной,
до почвы молнией я надвое разъято.

Разбитый полый ствол увенчан небогато
листами чахлыми; а то, что было мной,
сгорело заживо, и за предел земной
клубами дымными взошел мой дух крылатый.

Мой корень, рабствуя, пьет жизни горький сок.
Я чую листьев рост, я чую в жилах ток,
но часа смертного с надеждой ожидаю.

Рубцами на коре — ветвей отпавших след.
Я все еще живу, хоть сердцевины нет,
и вживе над собой — над мертвецом — рыдаю.

Реликвия

Фонтан иссохший,
хромой сатир,
мой сад заглохший,

ребячий мир...
Знать, в добрый час я
сюда попал.
Фонтан мой бесслезный, фонтан мой безгласный,
ты слезы мне дал!
Не я ль забредал
как будто вчера лишь в дремучие травы,
в цветущую сень,
где знали мы лучшие в жизни забавы?
Мы слушали пенье фонтана весь день,
смотрели на рыбок в пруду неглубоком,
хватали улиток, ловили жуков
и руки царапали в кровь ненароком,
забравшись в боярышник, полный шипов.
И — странное диво
дворянского парка,—
склонясь прихотливо,
как темная арка,
росла, не спросясь, вековая олива.
В заботливой ласке
суки узловатые к нам простирались,
чтоб мы забирались
на них без опаски.
И, самую толстую ветвь оседлав,
качели веревками к ней привязав,
мы снова и снова
взлетали, смеялись, восторгом объяты,
покуда не меркло сиянье заката,
почти колдовского.

Казалось бы мне,
что жизнь прожитую
я видел во сне,
когда бы не раны, что в сердце ношу я,
когда бы не свежая боль этих ран,
раскрывшихся снова
затем, что давно онемел мой фонтан.

Уже тридцать лет пронеслось бестолково,
а здесь сиротливо
со старой оливы
истлевшей веревки свисает кусок —
печальный залог
того, что осталось от мира былого...

Фонтан иссохший,
хромой сатир,
мой сад заглохший,
ребячий мир...

Воспоминание о Сольере

Мой друг, виденье детства сплети из тонкой пряжи,
ты знаешь этот город, что зеленью богат,
и Сольера долину меж каменистых кряжей,
где каждое жилище имеет выход в сад.

...Владыкой в этом доме был отдых полуденный;
хозяйка, опасаясь, что вскрикну невзначай,
к губам прижала палец; а за дверьми — зеленый
и золотой от солнца колышущийся рай.

Тот сад мне был приютом, лимона сень густая —
беседкой; на траву я бросался, вился рой
звенящих насекомых, причудливо блистая;
былинки щекотали мое лицо порой.

Стояли стебли строем зеленой колоннады,
от почвы до верхушек мой взгляд их обнимал,
и, словно баядеры, творящие обряды,
цветы меж изумрудных качались опахал.

Тогда впервые тайна раскрылась предо мною,
ребяческого сердца смутилась тишина;
девчонка прибежала с распущенной косою,
была она, как нимбом, лучом обведена.

Застрявшую колючку извлечь она спешила,
с опаской огляделась, пуглива и легка,
приподняла вдруг юбку и ножку обнажила,
и я увидел кожу белее молока.

И сердце задержало пред чистой наготою
свое биенье; щеки горели, как в огне.
О, детское смятенье — наивное, святое,—
когда бы, вместе с верой, вернулось ты ко мне!

И мальчик стал мужчиной... Таинственная сила
вселилась в куст колючий и ранила шипом

сокрытый мрамор Евы, что в первый раз дарила
мне терпкий плод познанья, не ведая о том.

Ту девочку я больше не видел... Наступила
пора, и к незнакомке притнал меня порыв.
Всю суть мою бездушно она преобразила,
зажгла меня, со мною огня не разделив...

Мой друг, виденье детства сплети в воображенье,
ты ловишь сетью ритма стрекозий хоровод,
так бережно и нежно твое прикосновенье,
что с крылышка ни атом у них не опадет!

Гость

Рубену Дарио

Явился к нам гость вдохновенный, он лиру
держал, чуть касаясь звенящей струны;
дыхание вешнее зимнему миру
принес он, дыхание знойной страны.
В нас имя его отзывается звоном,
как крик петуха, что зарю прокричит,
иль звоном стального копья, отраженным
ударом о щит.

Он — радостный ливень, питающий древо
поэзии; дерзостный Пигмалион,
дал трепет, и жизнь, и движение он
холодному лону изваянной девы.
Он мед достает из глубин сердцевины,
недобранный там нерадивой пчелой;
идет он — и розы горят, как рубины,
гремят родники величавой хвалой.
Он перлы находит и в сердце развязной
служанки порока; покров власяницы
не скроет от зоркого зовы соблазна
во взгляде нетронутой отроковицы;
он видит святого в скиту его старом
и храм, отраженный в волнах колдовских,
где селезень утку преследует с жаром
под пристальным взором гранитных святых.
Он мчит на Пегасе стезей Дон Кихота;
он Музы античной умножил щедроты;
пыльцою возросшего в сельве цветка

легенду Ламаичскую он опыляет
и стройные амфоры строф наполняет
от каждого брызжущего родника.
Обходит с товаром он веси земные,
купец-мореход, он приносит нам клад —
лесных светляков бриллианты живые,
а грубым соотчичам шлет он впервые
с Киферы и Крита певучих цикад.
Парит первобытной Америки кондор,
дыханием моря над Римом несом,—
мы видим на древнем гнезде его контур,
на кладке, насиженной мертвым орлом.
Он — древний дикарь с полуднённою кровью,
языческий жар сочетающий с новью,
он — полный сиянья
прозрачный фиал,
где, семя проклюнув, во славе восстал
цветок мирозданья.

Никто, уподобясь спартанским эфорам,
не смог бы его осудить приговором,
не смог бы поставить поэту в вину,
что лире придал он седьмую струну.
Божественный, древний огонь вдохновенья,
над миром расколотым вейся и рей!
Не ты ли один нас зовешь к единенью,
стирая барьеры меж двух лагерей?
Кануна пророк иль канона хранитель?
Античная страсть обновилась тобой —
возлюблен богами поэт-возмутитель!
Утесы прибой
ударами точит.
Я знаю, куда он идет, чего хочет,—
он взгляда не прячет, встречая людей.
Открыла Поэзия, старый учитель,
паломнику Остров в исходе путей,
где вновь он увидит ее отраженье
в пылающем зеркале воображенья.



АНОНИМНЫЕ ЭПИГРАММЫ



*

Кто большее усердье проявляет:
мушкет или свеча? Ответ непрост.
Мушкет на небо души отправляет,
свеча дает дорогу на погост.

Разговор со святым Антонием, за помощью к которому обращаются при пропажах

Исполненный огня благого,
творил молитву служка Бой
и торс Антония святого
нечаянно задел рукой.
Упав на каменные плиты,
святой лишился головы.
Тут, глядя на кумир разбитый,
Бой возроптал: «Я ждал, увы,
ты дашь найти мои пропажи.
А ты заступник вои какой:
ты уследить не можешь даже
за собственною головой».

✽

«Как? Лекарь Блай лишился места? —
вскричал могильщик.— Горе Блаю,
а мне отрада: наконец-то
я, братцы, всласть поотдыхаю!»

✽

«Марсаль, дай в долг четыре дуро».
«О нет, не дам, мой друг Артуро».
«Не дашь? А почему, Марсаль?»
«Да потерять мне друга жаль».

✽

«Ты двадцать дуро в долг найдешь?»
«Могу найти лишь пять».— «Ну что ж,
дай эти пять, мой дорогой,
а остальные — за тобой».

Толстый и тонкий

Увидел Канут, претонкий, как прут,
сеньора Бранката, бревно в три обхвата.
«Дружище Бранкат!» — «Дорогой мой Канут,
рассказывай, как поживаешь».— «Кто, я-то?
Прекрасно! И ты, полагаю, Бранкат?»
«Я — плохо. Ведь счастье в одном, в худобе лишь».
«Коль счастье такою ты меркою меришь,
я, значит, счастливей тебя во сто крат».

✽

— Тот тощий, как скелет,
сеньор с горящим взглядом
живет со мною рядом.
Он знаешь кто? Поэт.

— Ну что ж. Под стать поэту
он так воспламенен.
Бесспорно, ищет он
иль рифму, иль песету.

Алькальд и мясник

«Ты нас свежатины лишаешь,
коль только одного быка
раз в двое суток забиваешь»,—
алькальд ворчал на мясника.

«Мне за день больше, чем полтуши,
не распродать! — вскричал мясник.—
Зачем (послушать — вянут уши!)
на каждый день забитый бык?»

Алькальд ответил: «Глуп ты все же.
Твоя задача так легка:
ты каждый божий день, ничтоже
сумняся, режь по полбыка».

✽

«Ах, дочка, бог тебя храни,
пора бы замуж. Строя планы,
военных бойся: все они
изменщики и грубияны».

«Да полно, маменька,— тотчас
послушно дочка отвечала.—
Я всем военным дам отказ
и выйду лишь за генерала».



АНОНИМНЫЕ ЭПИТАФИИ



✽

Слыл покойник генералом славным.
То, что Марса он достойный сын,
говорили орден, спесь и чин.
Остальное было от осла в нем.

✽

Здесь честный муж в ученом звании
был христа ради погребен.
Что в этом странного? Ведь он
до самой смерти жил в Испании.

✽

Здесь покоится лекарь Иво́.
А вокруг — пациенты его.



ДЖОАН МАРАГАЛЬ



*

Взрасти любовь свою раздумьем и разлукой —
невиданным цветком раскроется она;
отвергни торный путь с его извечной скукой
и, путь свой выстрадав, пройди его сполна.

И будь страданию и скорби благодарен:
дороже нет даров, чем бескорыстье слез,
всех слаще поцелуй, что ветром был подарен,
всех пламенней слова, что ты не произнес.

Та, что предстанет въявь,— совсем не та,
что мукой
и поклонением твоим сотворена.
Взрасти любовь свою раздумьем и разлукой —
невиданным цветком раскроется она.

Слепая корова

На сучья натыкаясь головою,
неверной поступью бредет корова
к воде. Совсем одна. Она слепа.
Мальчишка угодил ей камнем в глаз,
и глаз разбитый вытек, а второй
бельмом подернулся: слепа корова.
Бредет на водопой дорогой прежней,
но без уверенности прежних дней

и без товарок: да, совсем одна.
Товарки по холмам и вдоль обрывов,
по берегам и в тишине лугов
пасутся в разнотравье, и бренчат
бубенчики... Она бы оступилась.
Вот опускает морду, до воды
не дотянулась, пятится... И все же
вернулась, наклонилась, пьет спокойно.
Пьет без охоты. Голову свою —
огромную, рогатую — вздымает
ввысь, к небесам, трагическим движеньем,
на мертвые глазницы опускает,
моргая, веки — и бредет обратно
дорогами, что ей не позабыть,
не видя света под палящим солнцем,
помахивая медленно хвостом.

Великопостная среда

Светлый день, ты одел, ясен и тих,
розоватыми облаками
небо над городом, сотворенным из дум моих,
и над городом, сотворенным людскими руками!
В том городе вспыхнет улыбкою луч
февральского солнца —
и радость проснется.
И озарится улыбкою мгла моих туч —
луч поэзии их коснется.

Это возврат к началу, как испокон веков,
это молодость, что приходит снова.
Из сумрака долгих дум, словно из облаков,
первозданно светясь,
возникает слово.
И новизною смысла мглу разгонит оно,
думы исполнит мощью, вызволив из темницы,
и завладеть тобою ему дано,
едва в глаза тебе глянет с печатной страницы
и поразит откровеньем, озарено
светом новорожденной денницы.

Так проникну я в дом твой — обманом, тайком,
гость непрошенный и нежданный,

и спрячусь во тьме за книжным своим корешком,
чтобы ждать и ждать неустанно.
И в час, когда будешь ты совсем одинок,
узник комнаты тесной и печали безмерной,
я, словно солнечный луч, вырвусь к тебе из строк,
и услышишь из уст моих клич молодости
бессмертный.
Я останусь в глазах твоих, я останусь в душе
твоей,
мой светоносный клинок пронзит тебе сердце
и смерть подарит тебе — и жизнь он подарит с ней.

Песнь

Господь, коль так прекрасен мир земной,
в глазах у нас привольно отраженный,
что можешь ты нам в жизни дать иной?

Вот почему я дорожу влюбленно
дарами тела, сердца, и лица,
и глаз моих... И так боюсь конца!
Какими чувствами еще познать мне
синь небосвода над грядою горной,
и даль морскую, и сиянье солнца?
Дай чувствам вечный твой вкусить покой —
и небосвод не нужен мне другой.

Того, кто повелел: «Остановись!»
из всех мгновений лишь мгновенью смерти,
мне не понять, господь,— хотел бы я
такое множество мгновений бытия
остановить, увековечить в сердце...
А вдруг «увековечить» — выдать смерти?
Но что тогда такое жизнь?
Тень времени, что мчится быстротечно?
Обманы зренья, то бишь близь и даль?
Подсчеты — мало, много, бесконечно —
неверные: ведь всё есть всё; а жаль...

Не все ль равно! Здесь, в этом мире сложном,
столь временном, столь разном и большом,
здесь, на земле, творящей все трудом,
мой дом, господь; и разве невозможно,

чтоб здесь же был мне и небесный дом?
Я — человек, мне человечья мера,
чтоб верить и надеяться, дана:
коль и надежда здесь моя, и вера —
сочтешь ли там, что то — моя вина?
Там, у тебя, где небо и светила,
хочу я человеком быть опять:
коль все, что сотворил ты, глазу мило,
коль власть твоя глаза мне сотворила,
чтоб видел я,— зачем же их смыкать?
Одно лишь бытие мне нужно — это!
Господь, ты есть, я знаю, только — где ты?
В глазах моих мир схож с тобою весь...
Внуши же мне, господь, что сам ты — здесь.
Когда ж, настигнут роковым мгновеньем,
я смертные глаза свои сомкну,
дай новые глаза мне, с новым зреньем —
и я на лик вселенский твой взгляну,
и смерть да будет высшим мне рожденьем!

Ода к Испании

Испания, выслушай слово сына,
хоть мой язык — не испанский:
мне край родной его подарил,
извечно с бедой знаком;
на нем с тобой мало кто говорил
и много кто — на твоем.

Много кто про пример Сагунто твердил,
про смерть во имя отчизны:
память твоя и слава твоя —
память и слава небытия:
жила ты в печали.

Я буду с тобой говорить о другом:
что толку лить кровь напрасно?
По жилам струясь, кровь жизни равна,
жизнь ныне и присно дарит она;
кровь пролитая — смерть.

Так много ты размышляла о смерти,
так мало — о том, как жить:

на верную гибель сынов обрекла,
посмертным почестям рада была,
в тризнах ты празднества обрела,
печальная матерь!

Я видел: ты корабли провожала,
что сыновей твоих к смерти несли;
ликуя, стремились они в никуда,
а ты распевала гимны, горда,
словно в безумье!

Где корабли? Где твои сыновья?
У ветра спроси, у волн разъяренных:
погибли все, тебе некого ждать.
Опомнись, осиротевшая мать,
пролей материнские слезы!

Ищи же, ищи спасенья от бед,
в слезах обрети и мудрость, и радость,
вспомни о жизни, стан распрями,
глаза подними —
и увидишь ты радугу в пору ненастья.

Испания, где ты? Не вижу тебя.
Я голос возвысил — меня ты не слышишь?
Тебе непонятен запретный язык?
Твой слух от слов сыновних отвык?
Прощай, Испания!

Новая ода Барселоне

Куда ты спешишь, Барселона, душа Каталонии?
Ты одолела гору, тебе нипочем стена,
и спешишь ты вперед, дома раскидав привольно,
свободой своей великою словно опьянена.

«Вижу я Пиренеи и снега их румяные,
там, внизу, Каталония к их подножью легла,
и спешу... Для нее я распахнула объятья,
и спешу, ведь любовь меня в путь повела».

Погоди, Барселона! Оглянись — за тобою
море блеском заполнило весь окоем,
к синеве устремляются белые села,

ширь ее окаймляя в свете солнца живом,
и бежишь ты от моря?..

«Из моря пришла я,
в эту высь забралась я, чтоб на море взирать,
ухожу, и не двигаюсь, и раскрыла объятья,
чтобы всю Каталонию к себе в сердце вобрать».

Море видишь другое ты, что бурлит и недвижно:
горы солнцем любуются, их улыбка нежна.
Чтобы столько земли и моря ты могла обнять, Барселона,
нужны тебе крепкие руки, мощная грудь нужна.

«Могу я обнять и больше моря, суши, селений:
любовь в груди моей ширится — и с нею ширится грудь,
и силу я ощущаю, какой не ведала прежде,
вся я преображаюсь — и облик, и самая суть».

Тогда торопись, торопись, торопись, Барселона,
чтобы стать такою, как должно, стать другою тебе пора:
величава ты, и пригожа, и гордишься статью своею,
но должна научиться многому, чего не знала вчера.
Ты жестока, груба, хитра, труслива —
все так! Но, Барселона, ты смешлива:
ведь небосвод твой яснолик!
Тщеславна ты, дерзка, упряма:
ты судомойка, что пролезла в дамы,—
чуть что, срываешься на крик.

Ты в трубы трубишь, бьешь в литавры,
щедра на ветви пальм и лавры,
хоругви блещут, плещет стяг,
и кличешь в голос чернь, готовую толпиться
вкруг гения и вкруг тупицы
и праздновать любой пустяк.

Но празднество минет, восторг твой схлынет,
и пыл остынет, и ты ни за грош
впадешь в апатию, лень, безразличье,
своих великих лишишь величья
да притом осмеешь.

Напялишь ты, охотница рядиться,
убор монахини и платье светской львицы,
и музы флер, и шарф, что блестками расшит;
но ты изменчива — в неистовстве раздора
черница, муза, нимфа и сеньора
отбросит и парик, и тонкие манеры
и явится шальной мегерой,
монашку втопчет в грязь и монастырь спалит,
чтоб снова возвести — из самых мощных плит.

Смерть взрывает сеть улиц твоих смешливых,
твой воздух истомный,
взрывает — неожиданна, неминуема, вероломна —
и тоже смеется — глумливо:
смех, брызжущий кровью!
Грязь твоих мостовых, Барселона,
перемешана с кровью.
А еще у тебя над морем гора высокая есть,
замок стоит на вершине, и там готовится месть,
но свершится на улицах людных вдоль склона!

И есть у тебя твоя Рамбла, красавица-щеголиха,
и есть предместья, где тихо, где воздух свеж и хорош,
где — так близко от улиц твоих, тонущих в гаме,
под дымными облаками, которые застят свет нам, —
готовят поля пшеничные в покое ветхозаветном
дань, что ты с них ежегодно берешь.
А рядом — еще одна Рамбла, более протяженная,
но другая — голодная, нищая, прокаженная,—
в темноте рассыпает огней своих адских дрожь.

Но ни смрад, ни грязь, ни отбросы, что кажешь ты без стыда,
ни провода,
что сплетаются над тобой в паутину,
ни дым из бессчетных труб над твоими домами,
ни пламя
факелов, что распря раздувает в пожар опасный,
опозорить не властны
небо, что над тобою, кроткое и голубое,
все оно поглощает, все прощает и преображает,
и посылает забвенье, утешенье и радость:
ты утратишь тысячекратно
мир — и тысячекратно он вернется обратно.

В твоей восточной стороне — перст божий! —
вознесся храм, с цветком гигантским схожий,
дивясь, что сотворил его народ,
угрюмый, к тяжбам и вражде готовый,
глумящийся над всем, что есть святого,
и занятый тщетой своих забот.
Но храм средь нищеты, и ярости, и дыма
стоит — не все ль равно! — высокий, нерушимый,
и богомольцев будущего ждет.

Какая есть, такой тебя люблю я,
неверную, и вздорную, и злую,
и пусть готовы мы тебя стыдиться —
ты словно с приворотным зельем чаша.
Да, Барселона, и в грехах ты — наша,
ты наша, Берселона-чаровница!





XX век

ДЖОЗЕП КАРНЕ



Верность

Даже если б меня ослепили мечом,
добела раскаленным, узнал бы я все же
каждый дом твой: тот, пахнущий ладаном,— божий,
этот, пахнущий мятою, мельника дом,
эти — пекарей, в тесто подмешанной сдобой,
отличался бы каждого запах особый,
и, лаванду вдохнув, я бы мигом узнал
домик По, вечно бывшего хворым,
и паленым несло бы из дома, в котором
старый жил коновал.

Даже если б из памяти выжгло бедою
все, чем жил я, то слух настороженный мой,
он ловил бы здесь голос дороги самой:
эта улица к речке ведет, к водопою,
эта — прямо к базару с его кутерьмой,
это — площадь, кипят здесь по праздникам танцы,
а на этом углу, вся в закатном багрянце,
появлялась она,
вон тупик — там катают шары дотемна,
а вот это — большак,— на простор беспредельный
выплывал ты, качаясь в корзине седельной,
и отец напевал, погоняя осла,
и дорога до самого неба текла.

Даже если б, исчадья великой измены,
города полонили все мысли мои,
я душой бы рванулся к тебе и, блаженный,
так и жил в забытьи.
Заливался бы дрозд у реки, в перелеске,
серебрился бы девичий смех на мосту,
засыпая бы, я уносил в темноту
листьев шум и воды хлопотливые всплески.

Каждый знак межевой, каждый узкий облог
возрождал бы меня, возвращал бы тебя мне,
и, как здешний, как тутошний, вновь бы я мог
все кусты примечать по дороге и камни.
У ручья, широко оглядевшись кругом,
увидав тебя в пестрой, цветущей рубахе,
улыбнулся бы я, и таким пустяком
показались бы все мои горькие страхи.

Крестьянка

Ты в черном платьишке; натужный, горький труд —
заплатам он сродни и жалким этим штопкам,
о ты, кто напрямки всегда спешишь по тропкам,
за женщину тебя лишь ночью признают.

Вдоль пашни ты идешь, но как тропинка тут
ни тай, не наследишь на черноземе топком,
и жаворонка песнь ты в ожиданье знобком
встречаешь, запоздай он хоть на пять минут.

Летишь почти... Куда? К племяннику больному —
ходьбы-то на полдня, а все не грех из дому
и вырваться разок...— в соседнее сельцо?

Любви, беспечности ты так и не узнаешь,
но вот, задумавшись, ты голову склоняешь —
передник ярко-бел, и светится лицо.

Танец

Когда по деревьям, по влажным травам
прохладный трепет начнет струиться,

выходят на танец
молодые жницы.

Повсюду: на грядках, уже лиловых,
на тропках, чья охра сквозит все глуше,
ветерку внимают
крохотные души.

Но пляшут смуглянки — они у солнца
тугие снопы свои взяли с бою,—
пляшут, враждебны
благостному покою.

Тела их огнем золотым объяты,
закат улыбается их дикарствам -
изгибы, извивы эти
дышат коварством.

И, разгорячившись, они томятся
по страсти, по единоборствам смелым,
колосков щекотку
чувствуя всем телом.

Одни

Когда любовь как вспышка двух солнц, неловко людям,
они глаза отводят, и ставни зло гремят,
а мы с тобой, целуясь, кочевье птичье будим,
и с каждой ветки шалой в нас метит листопад.

Но стоит нам в объятье благоговейном слиться,
стихает свет горячий, и тает вереница
окрестных гор, и мы — корабль ко дну идет —
одни, совсем одни, игрушка хищных вод.

*

Сподобь нас, боже, умереть,
как умирает лето,—
отполыхал его пожар,
но искорками света,
уже прощального, жнивье
так бережно согрето.
Мне хорошо идти вдвоем

с неярким солнцем этим,
его дорога все прямей —
дойдем и не заметим.
К тебе, любимая, приду
я с гроздью золотою,
и мы ощиплем эту гроздь,
у притолоки стоя,
оставив на потом слова
любви или разлада.
И пусть уже сползает с гор
вечерняя прохлада,
и пусть колышется листва,
дивясь потемкам ранним,—
на всю оставшуюся жизнь
мы эту гроздь растянем.

✽

Сподобь нас, боже, быть ростком
и древним корневищем,
быть каталонцами сподобь —
иных мы благ не ищем.
Пусть мы от дедов отошли
и не прибьемся к внукам,
сплотит нас пашня, та земля,
где мы истлеем туком.
Дай нашу веру нам, господь,
и — сплошь в огне зеленом —
наш край, и снежные ручьи,
и деньги с чистым звоном,
и тех же высших проб — любовь
и смерть, чтоб ясно, смело
уйти, чтоб «вылитый отец...»
над гробом шелестело.
И если ты возвысишь нас,
пускай мы славой раним
соседей,— родина должна
быть вечным испытаньем,
а если верх возьмет изъян,
который в нас гнездится,
пускай нам и его пошлет
господняя десница,
и то, что скорбью отнялось,
отрадой возвратится.

Псалом пленения

Рабством замаран каждый взгляд наш,
в рабстве каждое слово,
нас выбивают из наших жизней
так, словно мы — полова.

Боже, карающий нас во благо,
наш не отступится плач смиренный,
горько мы любим родные камни,
горько жалеем родные стены.

Дай нам надежды живую воду,
власть и во имя твое жестока,
если, избегнув перста господня,
ищет избегнуть господня ока.

Ты, кто, ни с чем оставляя судей,
жертву спасаешь и за стенами
тюрем,— спаси нас, восставь из праха
то, что когда-то и было нами.

Господи, ночью ты нас караешь,
днем испытуешь для новой кары,
вечно ли будешь свое творенье
переиначивать, зодчий ярый?!

Пусть наконец и осанна грянет
там, где покуда лишь плач да стоны,
пусть обновленную нашу кровлю
отчие вновь подопрут колонны.

Боже, и в день, когда нас вернешь ты
в землю, из коей достал однажды,
пусть она будет смуглеть под солнцем
каждой лощиной, вершиной каждой.

Остров

О ты, в кольце танцующих дорог
скала крутая, остров, крепость в море,
осколок одиночества, глядящий
на тающие тучу, дым, корабль!

Не миновал и ты биенья жизни:
твой постамент выглаживают волны,
теченье уволакивает камни
и ежатся твои кривые сосны,
ошиканные гулами глубин.

Упорство нас роднит! Мы оба — стоя —
встречаем жизнь, а холодность и чужесть
взаимные (обычный трюк любви!)—
всего лишь маска. Чуть не с колыбели
моим дыханьем правишь ты, рисуешь
мне образ мира — балуешь меня.
И каждый день, увидев, что глаза я
раскрыл, ты вновь решаешься на жизнь.
А не проснись я, кто б тебя восставил?

Душа моя тобою занята:
шумящим пеной безоглядным ветром
и небом, в круг согнавшим облака,—
вот он, Протей, ваятель превращений,
вот жизнь — горячка жадного дыханья,
восторг, всегда готовый полыхнуть
в крови моей, впитавшей оба солнца —
наружности и сути, вот восторг,
уже кольнувший твердь зигзагом крыльев!

Ты, как и всё вокруг,— лишь символ, знак...
И чем бы стал ты, красно-бурый камень,
в кулак зажатый миром превращений,
когда б не эта выправка скалы
и непреложность пиков и колючек,
когда б я не во сне тебя задумал
и не сквозь сон игра воображенья
по мне, по чертежам воспоминаний
о невозможном, возвела тебя?

Ты, остров, у меня в душе тронешься:
все то, что, затаясь, ко мне взывает,
обрисовало первый, во втором
безмолвные роятся тени, третий —
он из туманов и напрасных слез.
Уже и взгляд мой забывает землю,
из рук моих выскальзывают волны,
и я уже тоскую по рассвету
и по всему, что хлынет вместе с ним.

И пусть бы солнце именно сегодня
меня лучом последним отыскало,
успев еще взглянуть из темноты
и осветить... А что же дальше, остров?
Неужто неотступный сон уснет?
О, если б мог ты, тяжести лишенный,
отчалить в ночь, уплыть, не распечатав
безмолвия, и пусть бы гнулись мачты
сосновые, но парус был живым!

Нападение

Снаружи ветер бесновался —
не знаю, где я оказался
и кто здесь говорил со мной.

Спросонья отвечал я что-то
была мучительна дремота,
и эта ночь, и мрак ночной.

Я собеседника не видел,
но знал, но чувствовал: он тут,

и пробурчал: «А ну еще раз,
погромче, не сочти за труд».

Язвителен и злобно-вкрадчив,
он отозвался в тот же миг:

«Зачем вдали от мест родимых
здесь этот мается старик?

Он — полутруп. Неужто небо
коптить не тошно самому?»

Я вздрогнул, словно от ожога,
вскочил и бросился к нему:

«Живешь ты, злобой обжигая,
пусть я умру в чужой стране,

но знай: всегда, везде, пока я
дышу,— родная, колдовская,
как сердце, Родина — во мне!»

Защита

То, что казалось перечнем утрат,
не обретало мира в нашем плаче,—
всем существом я вечной битве рад:
живое и не может жить иначе.

Чужбина. Вечер. Полыхнул закат
в окно, за мной следящее незряче.
Все затихает... Но какой заряд
смятенья в этой тишине стоячей!

Сейчас в моей каморке закипит
все та же битва — с тучей эвменид
и с ангелом сойдусь, как в чистом поле.

Израненным шагает к смерти тот,
кто послаблений от судьбы не ждет:
святее всех — венец безмолвной боли.



КАРЛЕС РИБА



✽

Воительница, чья стопа крылата,
прозрев душою утро жарких сеч,
касается одетых в латы плеч
и в бой зовет — для боя, не для злата,
и воины берут тяжелый меч.

Так Радость может душу разбудить
и выстроить слова, как рать для битвы,
я их взрастил, но мне их не судить —
мне только возносить за них молитвы
и ритм полета в небесах ловить.

Ты, Радость, под сверкающие стяги
сманила жизнь мою. Ведь слово для меня —
живая кровь, семь лет томленья и огня...
Победа не зависит от отваги,
верни ж мне песнь хоть на исходе дня!

Но нет — в закатном свете с вышины
гляжу с тоской вослед моим дружинам
и новые собрать пытаюсь воедино:
лишь кинешь клич — и, гордости полны,
вновь за тобой уйдут мои сыны.

*

О Дух, мгновенной милостью прельстило
тебя желание — и ты осиротел:
без сладостных созвучий опустел,
без слов живых свою утратил силу.

А если в глубине опустошенья
томление на самом дне таится,
и Радость, как крыло бессмертной птицы,
тревожит плоть, пророча песнопенье?

Ожил священный пламень в темноте,
из пепелища феникс ввысь взлетел —
неистовый мой Дух, не жди забвенья: смел
ты зреть себя в последней наготе.

*

Любовь моя, порой внезапный страх
привычный путь раздумьям преграждает.
Твой взгляд, как прежде, душу согревает —
но бледная толпа дрожит в очах.
Рассвет родится, памятью богат,
но стерты лики т е х, уста молчат —
лишь свищет ветер в дальних парусах.

Любовь моя, сквозь слезы и страданья
они стремились к счастью — вновь и вновь,
развеялась золой живая кровь,
но свежий ветер полон ликованья.
Из тьмы приходят в наш зеленый дол
востребовать давнишний сладкий долг,
а не вымаливать гроши воспоминанья.

Любовь моя, тот долг взыскует бездна с нас:
живем за счет объятий, клятв, томлений
бесчисленных минувших поколений,—
но светлый дом наш и тенистый вяз,
утратив нас, найдут других влюбленных,
которым невдомек, что наш неугомонный,
наш колдовской огонь в их жизни не угас.

Услышишь...

Стихи? Они — всегда:
по небесам июньским
колокола, глубоки,
сбирают птичьи крики
и вместе мчат туда,
где перламутр заката
истлел и где, крылата,
зажглась одна звезда.
Вот заиграли горны —
погас прощальный свет
мятежной юной крови.
Темно-зеленый сад
стал от тумана сед —
на мир ниспали росы.
Все это знает сердце,
и от уснувшей розы
огонь его не меркнет.
Жива его надежда,
печаль его жива —
настрой его биенье
и в тишине услышишь
бессонные слова.

✽

Над медленной рекой, орел усталый,
напряг крыла, взлетел я выше всех —
над лодками, где не смолкает смех
и вьется вымпел голубой и алый
и над плотом, что горец полуголый
в трудах, в тоске толкает к городам,
где в темном камне вольная вода
забыла долы, рощи и стада
и колокол веселый.

Проходит жизнь — глаза не устают,
бросают в душу слитки откровений,
душа чеканит золотые тени —
и легким облачком они из рук плывут.
Блажен, кто в сердце копит россыпь руд
и созерцает золотое диво,
а я, все растопив, взмываю молчаливо,

парю, следя прилива и отлива
бессрочный труд.

Какой же ветер чары унесет
и склонит чувства к общему закону,
добычу вложит в сжатые ладони,
научит песне, что из уст в уста пойдет?
А может, жертвой царственной забавы
паду, растратив свой мятежный пыл,
низвергнут с облаков в прибрежный ил, —
последним взмахом бесполезных крыл
прикрою взор, где смерклась жажда славы...

✽

Издалека выкликну имя твое, о Суний многоколонный!
Радостно призову твое верное солнце, владыку
морей и ветров,—
и явится воспоминание в брызгах ликующей соли,
воссияет твой мрамор — античный и чистый (я тоже
стремлюсь к этой доле).
У подножия твоего белоснежного взлета,
под смеющеюся волною — изломанные колонны:
изувеченный временем храм полон презрения к ним,
спящим в веках...
Он, белый, на круче — не спит.
По белому маяку моряк выверяет пути,
путник, впитавший пьянящее имя твое,
видит сквозь голый дубняк твои стены — чрезмерные,
как всеведение богов,
изгнаннику светится через мрачные чащи
мощь твоя — о соразмерный, о призрачный! —
силу суля ему биться с жестоким Роком,
и богатеть от раздаренных благ,
и оставаться чистым — даже в руинах.

Зеркало

Меня догнал прозрачный вихрь
и, повинуясь жесткой воле
моих зрачков, во тьме затих,
но воссоздал меня, чтоб шел я

все дальше, к самой глуби сна
без берегов, где полвселенной
вмещается и где видна
вторая половина — в бренной,

неверной плоти. Я любим,
а может, завистью храним,
покуда длится отраженье...

Я, взор остановив, сберег
в невидимой стене виденье:
нас двое здесь — кто Зверь, кто Бог?

*

Уходишь? Мы бы за тебя отдали
алмазный смех звезды средь ночи мглистой,
который нам из моря воссиял;
в заливе дальнем —
озолочённый виноградником причал
и в злобный час, когда все страх сковал,—
песнь девы чистой.

Хотя б виденье,
о гордая краса, хоть сладкий сон
оставила, хотя б живое пламя
вселенной! Нет — гнетешь опустошеньем,
швыряя нам, голодным, взгляд как камень,
чтоб даже без тебя довлел над нами
лишь твой закон.

А если б нас признала
своими — и на нашу грудь
ладони положила, веру теша?
И мы бы думали: вот возблистала
в твоих чертах любовь, что мы неспешно
в себе растили, с помыслом безгрешным
сверяя грустный путь.

Свой чистый жар,
в тиши накопленный, отдали бы тебе —
какая бы неумирающая сила
осталась нам, избавленным от чар,

чтоб из безбожной лихорадки воскресла
и от животного томленья отрешила,
связав в одной судьбе?

✽

Uns wiegen lassen, wie
Auf schwankem Kahne der See.

Блажен, кто и под небом чуждых стран
не покоряется жестокой власти
зрачков любви; в водовороте страсти
не различает каменный обман;

кто ценит день как часть единой дани
и мерит новый день прожитым днем,
кто не идет извилистым путем,
распутывая нить воспоминаний;

блажен, кто не глядит назад, где мгла
былого гасит зарево святое —
надежду, что в залог грядущего покоя
нам Смерть на этот краткий миг дала;

кто к завтрашнему дню отверг влеченье;
кто, бросив весла, хоть ладья хрупка,
на дно ложится, глядя в облака,
подвластный только тайному теченью...

Канте хондо

Я и не знал, что тишь глухая,
льдяное обнажив ядро,
расколется — в пыли дорог
единый путник, ввысь бросая

единый вопль, единый стон,
вскричит чрез ночь к своей надежде, —
неведомо ему, что между
землей и небом обречен

на гибель стон — в усталой вере
умерших матерей взойдет

такой же стои и отопрет
от века запертые двери

времен н лиц, что длятся без конца.
И розою ветров раскроются сердца.

✽

Женщниа, чнстая в одииочестве н медлительных мнгах,
двнженьем растущего дерева нлн в рнтме любовного
возгласа
поднимает
вдоль тела, вдоль вскинутых рук — туннку. Вот уже
светит
потаеиное тело, ио лик — плеиииk льна.
Одно, два мгновення — хватнт лн временн, чтобы
порвалась последняя пелена меж красавнцей н
робким июнем, ждущим ее наготы в волне,
ждущнм радости, н полета, н соразмерности?
Вот, невесомое, золотое, почти иепостнжиое взору,
расцветает лицо, тянется вверх, нерешительио,
настороженно в безмолвном небытин — так недавно
полном
радостных соучастников. Вдруг — незатейлнвый крик
кукушки.
Женщина улыбается — ускоряет теченне юная кровь
вселениой,
и взмывает в прыжке, н плывет — о рнтм! —
вииз по течеиию времеии, к спелому солнцу,
к велнколепному лету — женщнна, с ней бессмертиые
боги, с ней и мои глаза!

Всякая тварь да восславит...

Господь, когда бы виять ты захотел:
тебе крнчу, презрев земиое знанье,
но крик теряется в твоем молчанье —
ты всякой твари положнл предел.

Без веса плоти, в утро я взлетел,
ведомый песней твоего дыханья,
но обнаружил в сердце мнрозданья
лишь зло и горечь — общий иаш удел.

Тогда, приняв на душу плоти вес,—
пловцом — в залив, пантерой — в темный
лес,—
я погрузился в глубину любви.

Душа — на дне, и радость на устах...
И вот — огнями в мутных зеркалах
мне претворились Милости Твои.

✿

Угасай поскорее, зеленый купол, хрустальная вышина!
Воды текут в своих руслах, и ветерок, пролетая,
чуть всколыхнет тишину —
кровь в моих жилах забыла об этом, а я вспоминаю.
Мир, погружен в бесконечный сон, умиротворяет,
гасит одну за другой волны времен у ограды печального
сада.
Погрузившись в глубокий душевный покой,
мыслю себя моряком, потерпевшим крушение
и попавшим в лагуну,
где возрождается море и брезжит сквозь годы
давняя родина. В свете заката
кажется чище тропа — по-ребячьи, по-королевски щедр,
закат повторяет свой путь по тропе, постаревшей,
нагой, но прежним огнем объятой —
с каждым шагом светлей, медлительней с каждым
шагом...
Это спускается ночь к своему жениху,
это ее приход знаменуется неизбежным взрывом тоски,
это она нас подарит друг другу —
ночь грядет, с весельем в очах, ночь по ту сторону ночи!



ДЖОАН САЛЬВАТ-ПАПАСЕЙТ



Линогравюра

В пироге детства
                    я отчалю сейчас навсегда.
К индейцам. На Дикий Запад.
(Уж я постараюсь, чтоб и следа
здесь по себе не оставить.)

И вот, пока жена моя спит,
баюкая сына будущего,
и им не надо
                    вместе со всеми вставать и спешить
занимать очередь в булочную,
и теплится еще звезда над крышей,
стою, сжимая томагавк под мышкой.

Но прыгает под окнами,
                              потирая руки,
букинист
          с кипою
                    неизданных стишат.
И мне не сбежать, не сбежать, не сбежать,
пока я его чем-нибудь не пристукну.

Сочельник

В ночной тиши симбомба стонет гулко.
Веселый звон коляд. Морозец на дворе.
Вот слышен скрип колес, шаги по переулку —
наверно, повезли на рынок сельдерей.

Никто не гонит спать. При тусклом свете газа
сидим. Предсмертный крик уже издал петух.
Глядит в окно луна огромным круглым глазом.
Мы утра ждем
и вверх
подкидываем пух.

Ведь завтра рождество. Ведь завтра богачами
мы за столом
себя
почувствуем на миг.
Из люльки Иисус
нас оглядит печально
и разревется вдруг
от горя
и любви.

Ничто не исчезает

Ничто не исчезает, все живет,
и вечности любая малость стоит.
И даже ночь и ту запишем в счет,
когда земля оденется росою,
и, скинув свой ночной убор,
смущенная заря потупит взор,
своей любуясь красотою.

Ничто не исчезает, все живет.
Оставим глупые расчеты.
Стоит над миром вечная весна,
о берег плещет вечная волна,
пьянит вино, здоровьем пышут щеки,
и зеленеют листья круглый год.

Ничто не исчезает, все живет,
и время не идет, а длится.

И, сколько ни зови, смерть не придет,
а если и придет, что ж, значит, наш черед —
мы в землю ляжем, чтобы вновь родиться.
Ты не увидишь слез на наших лицах —
всегда улыбка на устах,
как апельсин, открыта и проста.

Ничто не исчезает, все живет.
Все радуется жизни и поет:
«Пусть гибнет роза, не успев родиться,
но вечной завязью круглится
у юных матерей живот».

В трамвае

Девчонка в трамвае, ты носом уткнулась в книгу,
и книга сияет от счастья,
что такой удостоилась чести.
И кондуктор ждет не дождется,
когда ты перевернешь страницу
и он увидит твои глаза!

Ибо ножка твоя у всех на виду,
затянутая в тонкий чулок,
и все смотрят на этот тонкий чулок,
но мечтают увидеть твои глаза!
И ручка твоя так бела,
что блеклой кажется кофточка из ярко-алой тафты,
а платочек линялым, как после стирки;
но все-таки интересно, какие у тебя глаза?

Ведь если я выйду сейчас, я этого никогда не узнаю.
Ну вот! Моя остановка.

Спасибо тебе, любовь

Спасибо тебе, любовь, за этот май — твой подарок,
за эту желанную встречу, за смуглый пушок на щеках;
за то, что я к ней потянулся, и она взяла меня за руки,
и я пригубил ее, словно стакан молока.

Спасибо тебе, любовь. Не теряли мы времени даром.
Все было, как мы захотели, и нам не расстаться никак,

Ты пришла

Ты пришла, и, твоей красотою задета
за живое,
смущенно
промолвила розам сирень:
«Можно лопнуть от зависти, глядя на девушку эту —
как прекрасна она
и смугла,
словно солнечный день.

И как гордо ступает, сердца обжигая пожаром,
ну а взглянет — весь мир запоет в унисон».
Ты пришла, и я снова, как школьник, влюблен.
Крикну имя твое —
и откликнется жаворонок.

Ноктюрн для аккордеона

Я хочу рассказать вам, как я сторожил на пристани лес.
Нет, вы не поймете,
что значит
сторожить на пристани лес.

А я,
я видел, как с небес
весь день
все льет, хоть сдохни,
на штабеля и доски
и как дрожат рабочие,
скорчившись за бочками.

Когда ночами патрули метут направо и налево,
да так, что небо показалось бы в овчинку вам,—
свое освоив досконально дело,
я в волчьей пасти раздувал огонь на зависть фраерам.

Нет, вы не поймете,
что значит
сторожить на пристани лес.
Но руки всей бездомной братии,
оборванной, увечной и хмельной,
склонялись над костром моим, как в клятве,
и души раскрывались предо мной.
И тут происходило чудо.

И шум шагов в тумане замирал.

Нет, вы не поймете,
что значит
сторожить на пристани лес.

Вам не понять мерцанья огоньков
и пляшущих на ряби пестрых бликов.
И зов далеких маяков
однажды, как меня, вас не окликнул.

Как оно будет завтра

Мне запретили выходить.
Лежу —
не жалуюсь.
Я завтра встану, может быть,
и вот что будет завтра.

Увижу цветы
на подоконнике
и солнечный свет в окне.
Я поднимусь потихоньку,
и станет весело мне.

По лестнице
молочница
сбежит, бидоном звеня,
и мне опять захочется
ее обнять.

Но она рассмеется и убежит.

И с кипой газет под мышкой,
спрыгнув с трамвайной подножки,

будет шустрый мальчишка
выкрикивать заголовки.

Навстречу попадется почтальон печальный
и разведет руками, как всегда.
Не надо, старина, не огорчайся,
мне писем неоткуда ждать.

Зато увижу в небе самолет.
Закинув голову, замру на тротуаре.
И кто-то, может сам пилот,
мне крикнет сверху: «Все в порядке, парень!»

А наши соседки,
хозяюшки,
в такую-то рань, боже мой,
глядишь — уже возвращаются
с кошелками домой.
А в кошелках у них
не пусто,
а в кошелках у них
капуста.

Хозяин крутит мельницу за стойкой
соседнего кафе.
А мимо девушки бегут веселой стайкой,
и он кричит им что-то вслед.

И будет смех звучать так звонко и так молодо,
И будет пахнуть кофе свежемолотым.

И ребятня перевернет все кверху дном:
ура! не надо в школу —
сегодня
выходной.

И будут лошади стоять послушно,
а кучера дремать, поднявши кнут.
Им будет скучно.

И я налью себе вина чуть-чуть.

Горячий супчик на столе,
краюха хлеба.
И, может быть, друзья

придут меня проведать,
порадоваться за меня.

Так оно будет завтра,
если я завтра встану.

А если я не встану
и дело мое труба —
что ж, видать, не судьба.

Друзья, не надо плакать понапрасну
и обо мне скорбеть.
Ведь остаетесь вы.
И в мире все прекрасно:
и Жизнь,
и Смерть.



ДЖОЗЕП ВИСЕНС ФОШ



✽

Природа мирозданья через Разум
открыта мне. И им бессмертен я.
И в темной путанице бытия
подвластно время моему приказу.

Я — человек. И пошлости проказу
отвергну я. И пусть душа моя,
наезженная, словно колея,
как дар приемлет мир. Хоть и не сразу

дается счастье. Жаркая рука
сплетает, самовластна и легка,
узор свой, вдохновенно с богом споря.

Мой сон и бред — из глины и песка.
И плещутся о грудь мою века,
как плещутся о дамбу волны моря.

✽

Я часто вижу: жалок, неприкаян,
над пропастью отвесной, как во сне,
средь скал, чей вид безжизненен и странен,
блуждаю я в неведомой стране.

И, вскрикивая, руки я ломаю,
их простирая к горней вышине.
но глухи небеса. И никакая
случайная звезда не светит мне.

Я вечен сам в себе. Передо мной
пейзаж тысячелетний. Здесь порога
родного узнаю ступень. Я свой

на гребнях гор, в пустыне снеговой.
Я — завлеченный происками Бога
в ловушку. Или Дьявола игрой.

*

Когда закат окрасит в охру камни,
спешишь ко мне сквозь душных улиц зной.
Смолкает гомон птичий, и с тоской
цветы, поникнув, вянут под ногами.

Усталый, с пересохшими губами —
случайный гость в юдоли этой злой,—
я взят сюда на временный постой,
мой дом — на кручах гор, за облаками.

Тянусь к тебе, но скука гонит в спину.
Глухая к зову завтрашнего дня,
меня ты всасываешь, как в трясину.

И не прорвать бездумную рутину,
в себе уравнивающую всех и вся,
чтоб вычеркнуть из времени меня.

Когда от сладостного яда

Когда танцую, с ливнем споря,
как рыба, посреди двора,
стеной у локтя трется море
и ярко-ал зари коралл;
в испуге птицы воздух шпорят,
покуда куст их не догнал,
и, как пиратский адмирал,
подсолнух буен на просторе.

Когда танцую, с ливнем споря,
как рыба, посреди двора.

Когда я хохочу с издевкой,
вдруг ставши карликом с горбом,
охочусь за дворовой девкой —
в камзоле нежно-голубом;
под дубом водружаю древко
с наследственным своим гербом,
зверя по имени любовь
разя уверенно и крепко.
Когда я хохочу с издевкой,
вдруг ставши карликом с горбом.

Когда от сладостного яда
сойдя с ума, я вижу сны,
мне жемчуг сыплет ночь в награду
под клейкий панцирь тишины;
я ручейком журчу по саду,
и звери больше не страшны,
и гибнет тонкий серп луны,
упав за горные громады.
Когда от сладостного яда
сойдя с ума, я вижу сны.

Падающие небоскребы теней вытянулись жерлами в море. Я и она прогуливались по странным мосткам, повисшим высоко над дорогой. Мы искали во мраке ночи свет путеводной звезды. Ветви деревьев, которые угадывались сквозь очертания рыбачьих снастей и мачт, прогибались под тяжестью слежавшегося снега.
Мы хотели сказать друг другу прощай, но чья-то невидимая ладонь затворила нам уста

Когда сквозь сеть снастей за дальним молом
в узорах пальм проглядывает небо
и начинает колдовской свой танец
пространство, брызжущее пеной,—

шевелятся под мостовыми клады,
постель дотла пожаром сожжена;
и вот выходят в ночь мулатки,
тугими бедрами раздвинув зеркала.

Мы странствуем с тобой по грани сна —
как будто этой ночью и не этой,—
над пропастью скользя мостками без перил.
В венках из роз, открыты всем ветрам,
зажмурившись, чтобы с пути не сбиться,
босыми пятками ступаем мы по доскам,
поверх одежд небрежно начертав
какой-то дерзкий и крикливый лозунг.

Молчат сердца, и плещутся о берег
деревья, с шумом разбивая кроны.
Рассудок нем. И небеса пусты.
Не все ли нам равно, те или эти
из ночи в ночь перетекаем мы
и чьи глаза глядят на нас из тьмы —
в каком столетье, на какой планете?

И лишь когда с предутренних полей
от пахнущих смолою душной сосен —
да, ампурданских и ордальских сосен —
страх отступает, уходя в песок,
на пустырях со вздохом облегченья
сон раскрывает свой цветок.

Все небо в блеске рыбьей чешуи,
и нас заботливые укрывают руки
росою млечной, звездною пыльцой,
со лбов горячечных стирая бреда след.

И мы сворачиваем наконец
в реальность утра, в узкий переулок.
И камни замыкают нас в свой круг.

У подножья гигантской стены мужчина
чудовищного роста в синем комбинезоне
вощил приводные ремни и регулировал ход
механизма, тайком поглядывая на меня
время от времени из-под странного,
надвинутого на глаза забрала.
Вглядываясь в морскую даль,
я рассеянно перелистывал между тем
затрепанную книжонку

Сквозь паутину век слежу я, как отважно
расправил плечи он на берегу морском —
весь в звездной шелухе и накипи бумажной.
Как, проверяя ход маховиков,
он смазывает маслом шестеренки
на современных капищах ангаров,
у гаражей, охваченных огнем.
В оскале скользких скал я вижу наяву
его, одетого в замшелые лохмотья:
когда дремотой затуманен ум
и в бухтах сна бросает время якорь,
склонясь к приборам, он соизмеряет
пространства звездных бездн и листопада шум.

Столп огненной зари, нацеленный в зенит,—
напрягшеюся мышцей он грозит
холодной белизне невозмутимых лилий,
пока в единоборстве со стихией
убийственных винтов ослабевает ночь,
на взлетной полосе ломая крылья.
Он семя звезд из полной чаши
расплескивает щедрою рукой
на пустыри и на жилища наши,
где мы изнемогаем от любви.
И лижет — пламени язык —
обвисившие паруса. И утверждает
сень ясеня над крутизною сна.

Он — Призрак Вечности, блуждающий
по дюнам,
Безмолвный зов твоих лучистых глаз —
отбойным молотком дырявя скалы

окно, открытое на море в час отлива,
когда из гавани уходят вдаль баркасы
под хриплые матросов голоса.
Неведомых богов скликает он на берег,
Когда костер дотлел и гаснут искры,
лицо в слезах ты подставляешь ветру,
и над водой рассеивает пепел,
чтоб новою листвой оделось тело.
и тянет, словно груз, ко дну.
И тень двоих сливается в одну.

На выходе из метро, связанный по рукам
и ногам бородатыми таможенниками,
я увидел, как Марта садится в поезд,
уходящий к границе. Я хотел улыбнуться ей,
но многоголовая толпа, ощетинившаяся
штыками, увлекла меня за собой,
и кто-то поджег лес

От хрупких лестниц солнечных перронов
на зов морских гудков в распахнутый простор
отходят поезда с хрустальным звоном
будить покой полей и птичий гомон рощ.

Не ты ли, ускользая, как сквозь пальцы,
взгляд зыбкий пряча в бледности зари,
рассеянной рукой слова разлуки чертишь
в лесу остекленевших слез и фраз.

Увлечена толпою бесшабашной,
бесстрашно ты уносишься туда,
где остов сокола на пыльных скалах сохнет
у моря, вытоптанного богами.

Мне не вернуть тебя. Я заблудился.
Я только мальчик, позабывший адрес,
поруганный и взятый на поруки.
Просрочен паспорт мой. И я устал.

Мой самый лучший, самый звездный сон
ты, скомкав, запихала в чемоданы.

У перевала хмурый часовой,
затвором лязгая, крнчнт: «Измена!»

И ниц склоннлнсь рваные знамена.

Трое, двое, один, никого

Нас было трое баловней небес,
задаренных лазурью н плодамн,
когда предутренний курится лес
и детский плач трепещет над горамн.

Нас было двое, выигравших приз,
подставив грудь под копья звездной стужн,
когда с пустынных набережных бриз
в ночах ослепших слизывает лужн.

Я был один — тень, равная другнм,
неясный росчерк сна на досках пирса,
когда февраль, предчувствием томнм,
в сетях зари заледенелой киснет.

И — никого. Лишь волн холодных сталь,
когда от лнвней сатанеют листья,
и тот, другой, уже уходнт вдаль,
расправнв парус белоснежно-чнстый.

Мертвые лица осыпались вниз с шумом падающей листвы, но рабочие на стройке не обращали на это внимания

В порыве радостном теряем чувство меры.
Рискуя оборваться, громоздим
за этажом этаж. И вот уж прорван
бумажный потолок небес — победа!
И мы высовываемся в чердачное оконце
с предсмертной мукой на челе.
Мои глаза, твон глаза и вашн
туманнт страх, и не разнять нам век.

Возьмемся за руки! Так будет легче,
отбрасывая тень горизонтально
на мертвый гипс осыпавшихся лиц,
следить уже почти что машинально,
как деловито взад-вперед снуют
внизу строители, так далеко под нами.



МАРИА МАНЕНТ



*

Дрожь лучей, виноградника свежесть, свирель —
соловей несмолкающий плачет и стонет.
За деревьями даль утомленная тонет,
и полоска хлебов вьется в гору, как хмель.
Полночи птица, ты эхом печали
срываешь усталые слезы светил;
и розы отцветшие землю устлали,
где мысли блуждают, лишенные сил.
Эти светлые слезы и роз аромат
незримо смешались под небом полночи.
Звездный плач аромат увяданья упрочил.
О! Души безутешной глубокий разлад!
И опять с приближением новой весны
оживает печаль твоя, птица ночная,
боль душа растворит, молчаливо внимая
легкой грусти лучей... О! Как розы нежны!

Ода

I

Акации цветущей светлый свод
и зелень виноградника ясней.

Волнует жизнью трепетной восход
дыханье ветра в глубине ветвей.

И видно, как земной простор в дремоте
вбирает солнца ширящийся взор.

Оранжевое облако в полете
устало и легло на косогор.

Рассвета свежесть и земля в цветенье,
над зеленью холмов небес величье!

(Таятся в глубине ночные тени
и пустоты тревожное обличье.)

В дар красота дается, чтобы роза
в петлице увядала на груди,

и, скрытая в жемчужнице угроза
отравы — горечь ночи тьму цедит.

Высокая акация в цвету
и виноградник у сырой межи,

вы можете понять мою беду,
заметить, что во взгляде боль дрожит?

Поля пшеницы в дымке синевы,
акации свисающие плети

и утренние запахи травы
таят упорно бледный образ Смерти.

На всем сиянье трепетной весны,
и дрожь небес отражена волной.

Быть может, только призрачные сны
сплетаются над прочною стеной.

II

Акации цветенье, дрожь лучей,
Стены прохлада, запахи земли

вновь зазвучали из потока дней,
как вечности мелодия вдали.

И светит мне из глубины твой взгляд,
где отразилась неба чистота,

лучи в нем золотистые горят
и оживает розы красота.

Твои черты сквозь утренний рассвет
легко рассеют страх и чувство боли.

Пусть не исчезнут легкой тенью вслед
ни облако, плывущее над полем,

ни белые акации цветы,
ни виноградник в золотистой рани!

Я был измучен темнотой, а ты
в спокойном приближаешься сиянье.

И рук твоих чудесно утешенье,
настойчив шепот в шелесте ветвей.

И вечно будет чуда отраженье
струиться прядью светлою твоей.

Тень

Печалью соловьиной благоухает сад,
мой сон увенчан ею; дыханьем неги чистой
струится апельсинов цветущих аромат...
О соловей, ты весь — из звезд и мглы душистой!

Но схлынут сновиденья — и снова на ветвях
лишь снег, а на тропинке, луною освещенной,
все та же тень с улыбкой, замерзшей на устах,
как инея узор на розе обреченной.

Апрель

И март уже далек,
а белый цвет, как снег, в изломе сучьев лег.
О чем напомнить мог? Узнать мотив легко ли?
Запел в ночи сверчок, льют аромат левкои.

Напомнил мне цветок на ветке груши хрупкой,
как на тропе скользит фигура в платье светлом.
Скрыт белый зонт в тени. Едва шагнет с улыбкой —
сроднится с ветром.

Летняя ночь

Капли росы как прозрачный хрусталь
горных ключей.
Легкая свежесть грозы в духоте ночей.
Шум прибрежной травы уносится вдаль.
Влажно лилий разлит в темноте аромат,
островки их светлы на дрожащей волне.
Днем и ночью тоскую: далеко мой брат.
Как чужой, одиноко стою в тишине.
Ах! Тревожно рожок отозвался трикрат!
По лицу только слезы печально скользят.

Ласточке, разбудившей меня на рассвете

Как ты могла, подруга лета,
узнать, едва взошла заря,
что снов моих мрачит примета
начало дня?

Луг в синеве холодной тени,
светло гнездо твое в лучах;
легко отгонит птичье пенье
видений страх.

Не знаешь ты, как могут нервы
подушку раскалить к утру,
не знаешь гнета тьмы и первой
встречаешь утро на ветру.

Ода утренним возам

Кровати скрип сквозь дымку грез
или, пока цвет окон ал,
жую укроп под стук колес,

а мой пропахший хлебом воз
в предместье сонное въезжал?

Возов протяжный скрип сквозь сон
доносится, въедаясь в плоть.
И бубенцов тревожит звон —
мотив прозрачный, ритма взлет,—
как будто конь в кровать впряжен.

Ночная пряжа вплетена
в ту упряжь с позолотой блеклой.
Медь бубенцов лишает сна
тускнеющие стекла окон.
Лишь смутно лошади видна
звезда над пропастью глубокой.

И дальше грезы путь увлек,
где хвойный запах на вершине.
Небес натянут тонкий шелк,
дрожь фонаря на парусине,
как путеводный огонек,
звездой нетленной в дымке синей.

Утро

Выходишь из сна, как из моря. Дремота
на губы легла, память зыбкой улыбки храня.
Искрится роса, но луна в ожидании дня
льет лучей серебро с небосвода.

Лазури на миг отражается блеск во взгляде.
Дыханию моря хрупкая глина верна.
Жемчужины бледной касаются светлые пряди,
словно качнула водоросли волна.

Могила Рильке

Покоишься в углу
погоста, на скале. В тени уступа,
заросшего плющом — пустяк тому
февральская метель, — крест приютился грубый,
как у простых крестьян и пастухов.

Надгробная плита, будто ларец с приданым,
подернута резьбой. От солнца и снегов
крест поседел под стать ночным туманам.

Зато похвалиться вправе могила пышным гербом
на щите горделивом: знак величья былого
австрийской земли, он царит над холмом
роковым, где твое замуровано слово.

Сюда схоронилось чело, вожделевшее пуще всех благ
тихой сени и покоя.
Когда альпийский ветер, снегом кроя
увядшую траву, торопит чинный шаг
идущих мимо горцев — в руках лоза, как лира,—
им невдомек, что скрыта этим плющом лазурь
твоих детских, испуганных глаз, что не знавшее мира
сердце твое под крестом здесь отдыхает от бурь.



ПЕРЕ КВАРТ



Женщина глубокой ночи

«Жди меня. Погаси свечу.
Руки раскинув, как крылья,
я над озером воспоминаний лечу.

Темнота поцелуям меня не обучит.
Ключ зари достаю — рассветный луч.
Ночь отпускает на волю взгляд.

На краю зари я усну
пленницей медлительных лун.

Молчанье затихших цикад.
Уходи, одиночества я хочу.
Погаси же свечу.

Ночь белая, черная, голубая.
Голубая — как бескрылое море.
Черная — как вода неживая.
Белая — как снег, поседевший от горя.

Дыханье темной травы,
что, проснувшись, зеленой станет.

Сомнамбулическое журчанье фонтана.

Взгляни наверх: там небесные сферы
кружат, словно в клетке дикие звери.

Пересекают пути в пространствах,
гонимые тьмой.
А после свет разольется дневной,
как сновиденье усталой ночи.

Глубокая ночь, доброй ночи».

Песенка

Звонкоголосая тишина
и музыка неуловимая
опять затопляют мой дом.
Время прилива.

Жизнь любит рассматривать сны,
точно в кроватке младенец.
Торопливо плыву сквозь ночь,
полную света.

Потерпел я крушенье вновь,
к острову подплываю.
Чуть колышатся на берегу
темные пальмы.

Черной водой ручей
жажду мою не гасит,
не золотится закат,
берег загажен.

И я засыпаю во сне,
лунного жду восхода.
Что там — скальпель или коса
на небосводе?

Жизнь любит рассматривать сны,
потерпел я крушенье снова,
и нет золотых островов.
Все было ложью.

Надеюсь, подозреваю, боюсь, хотел бы...

Надеюсь, что он не глядит,
что не заметит меня.

Подозреваю, что это навеки,
что хоть он приговора не вынес,
но держит меня на примете,
что некуда мне ускользнуть.

Боюсь, что он мне угрожает,
что готов покарать,
что враждебен ко мне,
что шпионит,
что ходит за мной по пятам.

Меня раздражают таинства,
пророки,
загадки,
дары, привилегии,
экстатичность.

И ненавистны обряды,
поклонение,
ладанный дым.

Я хотел бы видеть и слышать его,
собеседовать и постигать,
служить по-человечески —
вечно.

Хотел бы, чтоб он однажды избрал меня
и превратил бы в камешек,
в лист,
в молекулу,
в тишину или воздух,
в любой безмозглый предмет
своего вселенского царства.

Хочу, чтобы любил или оставил в покое.

Оплаченный отпуск

Я решил навсегда уйти.
Аминь.

Завтра вернусь,
ибо стар я,
ноги болят,
суставы раздуло подагрой.

Но завтра пройдет, и снова уйду,
помолодевший от страха.
Навек, навсегда. Аминь.

Я уйду и уже не вернусь —
безмозглый,
как голубь почтовый,
но уже не такой покорный
и вовсе не кроткий.

Отравленный мифами.
С котомкой, набитой хулами,
отощавший, иссохший, весь в струпьях,
владетель, утративший все, даже сон,
гноящийся Иов,
кормилище вшей.
Оскопили меня, язык прободали.

Уцеплюсь за поезд в оплаченный отпуск.
Повисну на буферах.

Земля, что была отдана нам в наследство,
от меня убегает.
Лишь воздушный поток
отбивает меня от нее.
Травянистый откос, каменистая осыпь —
растворенные в целомудрии знаки любви.

О земля, лишенная неба!

И все ж посмотрите:
я опять возвратился,
одинокий, почти что слепой от проказы.

Завтра снова уйду,
и уже без обмана.
Да, ползком, на карачках,
как прапрадед,
тропинкою контрабандистов,
к смерти, к черной границе.

И — прыжок в пламенеющий мрак,
где любой — чужестранец,
где томится в изгнанье
бог отцов моих, старенький бог.

Литания

Для детишек —
ложь.
Для возлюбленных —
ложь.
Для приятелей —
ложь.
Для покупателей —
ложь.

Ложь примитивная и ложь утонченная,
безжалостная и ласковая — с клятвами,
поцелуями,
оптимистическая — кровь с молоком,
благовидная, во спасение.
Фальшь и обман.
Крохотная полуправда.

Ложь историческая —
нынче мы ее шьем изолгавшимся предкам.
Литературная ложь,
где каждая строчка лжива вдвойне.
Философская ложь —
черт бы побрал вас, время и бытие!
Ложь научно-техническая —
в цифрах, которыми обмениваются компьютеры,
и в компьютерах, которые лгут,
как легенды безумцев.

И ложь веры —
грустное милосердье небес

ко всем страждущим,
ко всем несчастным земли;
ложь старых сказок,
которые некогда, неведомо как,
якобы станут явью...
(Боже, заранее благодарю
за благодеяние без гарантии,
что оно сбудется.
Боже, аминь, да будет воля твоя!
Господи, слышишь ли вопль?

Пусть смерть, добивая нас, тоже солжет!)

Собственное молчание

На меня снизошел
мимолетный покой жирного нищего.
Можно сказать, никого. Мое молчанье со мной.
Только думать — нет, не хочу.
Ненароком мысли пойдут вразнобой.
Так покойно, так одиноко.
Да в ногах примостилась собака.
«Без собаки жизнь безотрадна».
(И еще примиряют с жизнью меня,
жалкую персть земную,
гренки с мармеладом.)

В моем одиночестве меня почти нет —
я мягко отсутствую в нем,
как тот, кто вдали от эпохи
незримо вдыхает черный эфир.

Но беспокоит меня — уже существую! —
и раздражает,
словно в минуты агонии,
правоверный галдеж
жирных, что добились в гостиных
влиянья и крохотной власти.
И я назидаю и убеждаю себя:
«Войди в дом,
замкни дверь,
помолись Отцу (какому отцу?),
который весь — тайна (какая тайна?)».

Можно сказать, никого. Одиноко.
Уши, глаза,
рот, руки, нос.
(К чему? Для чего?)
Неужто краток мой срок и скудна юдоль?
Моя случайная жизнь
невесомее пуха — и вес-то ей скорбь придает.
Точно вздох, этот увечный ноль.

Только думать — нет, не хочу.
Проклятая память — проказа — порою целебна.
Отомкнись, вновь замкнись.
Молви: нет.
Нет, нет, нет.
Ни за что, нипочем.
Никогда.
Ни прежде, ни нынче, ни потом.

Бросившийся в колодец

Перетерлась веревка. Колодец
был давно позабыт. Но однажды
в него бросился юный мечтатель —
грезя, там утоляет он жажду.

Люди худо толкуют о нем,
и священник сказал, мол, напьется
он навеки адским огнем.

Только небо лукаво смеется,
увенчав его устьем колодца.

Боров

Перехожу на режим голодания.
Грузноват я стал, толстоват.
Глядеть на себя — сплошное страдание:
жирею, совсем как хавронья, брюхат.
Итак, голодание!

Верней, диетическое питание:
чуть-чуть отрубей. По утрам променад:
трусцой к загородке, трусцой назад.

Уже про Мартинов день говорят...

Приписка к завещанию поэта

Друзья, смиренно вам завещаю
три добрых занятия на все времена:
жить каждый день пристойно и просто,
стараясь не быть ни скупцом, ни мотом;
размышлять (с сомнением или с верой)
о непреложности или возможности
гибели плоти
и новой жизни души.

И ничего при этом не делать. Пожалуй, и все.
Все прочее — литература.



САЛЬВАДОР ЭСПРИУ



Мой мир — приют для притаившегося счастья

За этой дверью я живу,
не знаю лишь,
зовется ли это жизнью.

Когда под вечер я возвращаюсь
из каждодневной грызни за хлеб
(ты, может быть, не знаешь, что мне выпал
редчайший жребий по частям
себя распродавать за звонкую монету,
в которой, впрочем, с каждым днем
все меньше проку?),
я старое пальто — надежду — оставляю
снаружи, и снова в путь — дорогой моих глаз,
туда, в глубины, к богу моему,
туда, всегда туда, где нет двудушных
пророков, грехов нелепых
и старого глупца, неравнодушного к стихам
самобичующимся, как эти вот, в каких-то пятнах,
происхождение которых, к моему стыду,
однажды объяснит досужий критик.

Так вот, меня найдешь, если решишься,
за леденящим небытием этой
двери, здесь, где живет,

внимая тоске и божьему гласу,
среди ночных птиц своего одиночества
человек, лишенный снов в своем одиночестве.

*

Я шел по улицам Синеры,
у всех дверей выпрашивая крохи
воспоминаний. В тихом небе
моя смиренная и тщетная мольба
долгим отдавалась гулом.
Временем утраченным — хлебом,
которого я ждал,— никто со мной
не поделился. Но мне верны
и в подаянье не откажут
зеленые, как прежде, кипарисы.

Слова

Какой тоской исполнены
слова — обоз неторопливых
телег, нагруженных
останками твоими, воскресным
тошнотворным вечерком
и безотчетным страхом. Захлопнулись
друзья и книги, плотно сжаты
губы вещей. И подмастерья
свирепые серых людей
травят тебя за выстраданные
возвраты к богу. Ты силишься
забиться в глубь
твоей зимы, чтобы разжечь
из вороха воспоминаний
последний костерок. Затем, когда твой взгляд
потухнет, ты прикорнуть
готов. Но тут
к тебе на ощупь пробирается
завернутая в шелковистую ночь
твоя фарфоровая боль, и ты,
из леденящей глубины воды,
разбиваешь забытые голоса,
целехонькое старое стекло слов.

✻

Ну вот и тишина,
крохотная, ранимая,
на барабан натянутая кожа,
исхлестанная ливнем.
Заботливые, нежные руки
сняли
и опустили на землю мертвую
песню,
задушенную куклу;
вырвав ее из пасти бешенства,
они внесли ее благоговейно
в лучащийся покой.
Она лежала на крыльях слов,
слов, никем до сих пор не сказанных,
пчел, излучающих свет.
Я вслед за ними
вхожу в какой-то незнакомый парк,
впускаю рой
в забвение
и заколачиваю крышку улья.

I beg your pardon

Зарифмованные мысли
о ядерной угрозе,
как она предстает со страниц газет

Раз центр вселенной
не ты, что по всему видать
(а ты считал, что он как минимум вблизи),
когда мешают ночью спать,
не размышляй о жизни бренной,
чтобы уснуть, ты ноготь погрызи.

Раз центр вселенной
несомненно
от тебя далек
и у тебя вдруг хватит духу
предположить, что ты никто,
отвесь разок
тому, кто под руку попался, плюху.

Тебя изводят по ночам сквозь тьму
проблемы юркие попеременно.
Твои слова — опасный шаг к тому,
чтобы узнать, что ты не центр вселенной.

Земляк мой из Стамбула, Бадалоны,
будь ты трудягой или ветрогоном,
наш мир так ненадежен и нелеп,
что в нем непросто заработать хлеб.
Прогноз мой для тебя, возможно, крут:
как ни вертись, а все ж тебя взорвут.
А до тех пор, не ведая печали,
следи, чтобы в глаза не наплевали.

**Они бесхитростны,
чтобы тебя увлечь...**

Устав от стихов, на которые нельзя положиться —
творений отменных мастеров,—
от торжественных шествий голого короля,
от стонов ветра, вековечного врага,
от собственной чрезмерности, не находящей
применения,
я вам признáюсь, не мудрствуя лукаво,
в простых словах, в безотчетном крике,
что я хочу остановиться посреди дороги,
с последним беззаконием бок о бок,
и наконец-то пасть, без сожалений, мертвым
на славную и добрую землю.

**Тобою водружен божок,
напоминающий твой рок**

Зима тогда застала нас врасплох;
мы видели: безоблачного неба клок
служил прикрытием, и в сердце зла
укоренился преступлением мой край;
щемящей нотой зазвучал разлад,
над братом одержать победу тщился брат.
Но возвращаться наконец пришла пора

на кровью орошенные, бесплодные поля,
чтобы спастись в днях тяжкого труда,
чтобы церквушка нам светить могла,
чтоб обрести свободу мира и добра.

Набросок песнопения в соборе

О, как меня тяготит
мой жалкий, закосневший, обветшалый край
и как мне хочется уехать
куда-нибудь на север,
где, по рассказам, все опрятны,
сметливы, независимы, бодры,
зажиточны и тороваты.
Мои земляки меня как один осудят:
«Для человека отчий дом покинуть —
то, что для птицы позабыть гнездо».
А я, издалека, лишь усмехнусь
над застарелой мудростью и обычаями
моего отсталого народа.
И все же никогда я этого не сделаю
и проживу здесь до самой смерти.
Ведь я и сам такой же жалкий и такой же
косный,
а вдобавок
я отчаянно, до боли привязан
к моей неотесанной,
нищей, унылой, злосчастной родине.

*

Порой бывает необходимо,
чтобы один человек умер во имя народа,
но никогда не должен умирать народ
во имя одного человека.
Земля моя, не забывай об этом.
Не дай погаснуть огоньку общения
и правоту разноязыкую, но равноправную
своих детей пойми и полюби.
И пусть напоит дождь посевы,
и пусть заботливо благотворный ветер

обвевает бескрайние поля.
И да благоденствует мой край
вечно, в труде и мире,
в нелегкой, выстраданной
свободе.

*

Наши желания
просты
и ожидания смиренны:
проникнуться
самодостаточностью вечной
розы
и наивысшей вечностью
цветка.

Как только ночь во всех своих домах
закроет двери
и мрак проникнет
до истоков
зари,
наши глаза перенимают
у чутких пальцев
слепого
науку видеть, знать
и понимать
негромкою любовью.

Так нам открылись
реки, горы,
и выжженные плоскогорья, и города,
и мы узнали сны
живущих в них людей.
Мы были с ветром
в полях, лесах,
в журчанье родника и в шелесте листвы,
и всё отчётливее
на этой распластанной шкуре,
утаенном и бессмертном сердце,
проступают слова, которые мы пишем:
Земля моя.

*

Едва лишь луч, родившийся на дне морском,
забрезжит на востоке, пусть еще тайком,—
я смотрел на эту землю,
я смотрел на эту землю.

Едва на западе стоящая гора
решит, что сокола за светом слать пора, —
я смотрел на эту землю,
я смотрел на эту землю.

Когда болезненный вечерний воздух взмок
и сумрак выполз пожирателем дорог —
я смотрел на эту землю,
я смотрел на эту землю.

Когда издалека, в дожде еще жива,
несет свой терпкий запах палая листва —
я смотрел на эту землю,
я смотрел на эту землю.

Когда доносит ветер до меня привет
от близких мне людей, которых больше нет,—
я смотрел на эту землю,
я смотрел на эту землю.

Когда, старея, я преодолеть хотел
воспоминаний зарешеченный предел —
я смотрел на эту землю,
я смотрел на эту земю.

Едва безбрежной летней тишиной поля
покроются, росткам рождение суля, —
я смотрел на эту землю,
я смотрел на эту землю.

Когда слепого пальцам ясен стал вопрос,
зачем так льнет зима к снам виноградных лоз,—
я смотрел на эту землю,
я смотрел на эту землю.

Едва прорвется бешеного ливня нрав
и диким табуном он хлынет из канав —
я смотрел на эту землю,
я смотрел на эту землю.

Начало песнопения в соборе

Посвящается Сальват-Папасейту.
В надежде, что Раймон его исполнит

Теперь скажите: «Расцветает дрок,
в полях повсюду полыхают маки.
Идите новыми серпами жать
пшеницу вперемешку с сорняками».
О, если бы, не ведавшие мрака,
улыбки юных губ, узнали вы,
как запоздал рассвет, как долго ждать
пришлось луча, блеснувшего над тьмою!
Нам суждено было спасти слова
и вам напомнить имя каждой вещи,
чтоб выбрана была лишь та тропа,
что приведет к земле вас как хозяев.
Мы погружаемся в мечты и сны
и цепким взглядом смотрим вдоль пустыни.
И громоздятся полые цистерны
среди уступов тягостных часов.
Теперь скажите: «Голосам внимаем
ветров и колосящихся морей».
Теперь скажите: «Навсегда верны
всем повеленьям этого народа».

✽

Томасу Гарсесу

Бессмертное, нам дорогое слово
вросло в земли потрескавшийся ком.
Не озарен настольной лампой дом,
и некому склониться над столом.
Казалось нам, что правда — это миф,
расколотый о песнопенья риф.
Дурак и шлюха танцевать готовы
под ужаса бодрящим ветерком.
Вольны в убийства танцевальном круге,
как будто нет смердящего покрова,
мы пляске отдались. В движенье флюгер;
и мы кружим, его слепые слуги.
Влекут нас льдистые глаза пичуги,
в которых издавна запечатлен
образ людьми отягощенных крон.

*

А вдруг изгнанию
конец,
и лица повернут
к истокам,
а ветер,
обретая власть,
дарует вечный нам
приют:
покой
немеркнущего света?
К бессмысленным вопросам
страсть
наткнется, как всегда,
на лед,
презрительно
молчащий рот.
Лимона
кислоту любя,
мы оставляем в прошлом
скрипку,
псевдопобеды,
слезы лживые,
к наживе
легкие пути:
ключ стар,
и заржавел замок.
Взяв молоток,
бродяга спятивший
от нас
сокрыл игру
великой тайной.
В свою дыру
заходит солнце.
Сквозь тусклый свет
и облаков
ночную тину
в души глубины
плывет предвестье
злой годины.
Тьма. Черной башнею,
бредов,
средь ледников
стоит, как перст

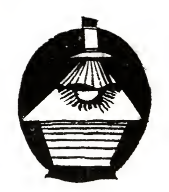
моей руки,
и небу вопреки,
кошмар.

*

Я припадаю к наготе
сухой земли.
Сливаюсь с сокровенной
тишиной. А пыль
клубится.



ГАБРИЭЛЬ ФЕРРАТЕ



Осенняя комната

На полпути застряли жалюзи:
так горечь, заслонившая полсердца,
еще от мира нас не отделяет.
Но тридцать семь просветов-горизонтов
уже ты забываешь. Этот свет
был прежде цвета меда, а теперь
стал цветом запаха созревших яблок...
Как медлен мир, как медлен мир, как медлен
огонь минут, мучение часов,
сгорающих так быстро!.. Наш приют
ты вспомнишь ли?
«Ведь я его люблю.
И голоса рабочих за стеною...
Кто это?»
Каменщики. Строят дом.
«Они поют обычно, а сегодня
я их не слышу. То кричали, пели,
то вдруг — молчат...»
Как медленно летит
листва неясных чьих-то голосов,
нас окружая шорохом... Дремотной
листвой моих опавших поцелуев
твое покрыто тело... И бесплотной
становится листва былого лета

и дни, распахнутые для любви...
А кожа у тебя еще, как прежде,
то светит солнцем, то блестит луной.

Руки

Вагон метро. В толкучке я схватился
за поручень у самой двери. Вдруг
мне на руку легла ее рука —
и так легко легла и невесомо,
как тень руки. Я обернулся и —
стал молодым. Подобно ей. Она,
похожая на драную козу,
худущая, усталая, стояла,
закрыв глаза. И вот моя рука
без моего согласья, но в согласье
с ее рукой, в порыве обладанья
запретного, внезапно с ней слилась...
Я был так юн, неопытен, не знал,
что предпринять, что сделать... И тогда
я сделал вид, что это не моя
рука, и не взглянул до остановки
на наши руки... Порвалась
басовая струна виолончели.

С изнанки

С изнанки будет так: неудержимый ливень
пылающего августа; мальчишеские ноги,
согнутые на краю трамплина;
апрельская сирень, подобная прыжку
борзой; паук, неторопливо выводящий письмена
голода; зверь — на задворках, в сумерках — о двух
головах и четырех ногах; стремительная рыба,
скользящая в запруде, как смычок;
девочки на быстрых
велосипедах — золотое с голубым;
пес, подыхающий от жажды; смрадный
рассвет над рынком, рассеченный фарами
грузовика; и ласковые руки...
Все — о сокрытом. О себе — ни слова.

На восходе

Вот солнце, мудрый старец, разгоняет
последние сомненья темноты,
оставшиеся с ночи. Руки старца
дрожат немного, вздрагивают ветви,
и нас знобит — мы чувствуем: вот-вот
настанет миг, срывающий повязки
теней, и скальпель света перережет
последнюю преграду, взвизгнет флейта
Иблиса — порожденье огня
и смуты — и откроются пространства,
и мы увидим день, но наши пальцы
наткнутся на стекло. «Мир светел,— скажем,—
таким ты и любил его, таким
и рисовал себе во сне, пытаясь
проснуться и еще не представляя,
что жизнь невероятнее, чем сон».

Бесплодная задача

Колодец, вороненый, точно ствол
тобою виденного в детстве револьвера.
Высокий папоротник. Тихий барабан
глухого солнца. Птица,
нахохленная, дикая — точь-в-точь
ацтекский коврик из зелено-желтых перьев, —
весь день взывающая: «Света! Больше света!..»,
чтоб вечером его упрятать под землей. Теперь
ищи его, ищи — вплоть до последней капли
под листьями, среди корней шершавых и удобных
для цепких пальцев. Черная икра
тутовых ягод. Слезы липкой гнили,
оставшиеся от раздавленных орехов,
распластанных и красных, словно раки. Запах
стволов смолистых. И живой металл надкрылий...

Все это там, внутри тебя. Но как войти?
Да и куда? Уже давным-давно
ты вышел на дорогу, а теперь,
ошеломленный, понял: ты плутаешь,
ты растерял уверенность — и ощущаешь только
одно: что дело вовсе не в дороге, а в колодце.

Лицо

Что за мерзкая мысль,
что за дикое убожество
помысла
(змея,
раздавленная гремящим
колесом и все же ползущая
всю ночь: разматывающаяся
струна кровавого мяса,
медленная, тяжелая,
вползающая в рассвет
затаившегося сада,
чтобы розовым и зеленым
утром вывернуться наизнанку
под ликованье жужжащего сгустка
мух),
что за
гнусность вместилась
в такую маленькую,
в такую беззащитную головку,
если это юное лицо
вдруг стало расплываться,
растекаться, как восковая
маска, под которой оказалась
неминуемая старость,
застигнутая врасплох и знающая,
что нам она ненавистна!

Le Grand Soir

И думать нам не думалось о том,
что ждут нас перемены, что вослед
за осенью —
ничто. И вот сегодня —
ни камня, ни асфальта, ни бетона.
И руки опускаются в траву,
как ржавая листва. Больные руки,
натруженные. И, скользнув из пальцев,
ненужные орудия труда
становятся добычей алчной грязи.
У женщин подгибаются колени:
так много приносили в дом припасов,

так долго, стоя, не смыкали глаз
у очагов, готовя пищу смертным,
что стали пищей смерти... Дальний ветер
из города опять приносит ужас,
кровь леденеет: вновь перед глазами —
так низко туча пепла! — на дыбы
встают оливы и, ломая ветви,
спешат за нами... Вот последний поезд,
но он уже не нужен никому.
Теперь он мертв, бессмысленный червяк,
и даже взгляда нашего не стоит.
Пойдемте за детьми. Они без страха
играют под колесами. Они
разведали канавы и протоки,
где гной стекал. Пойдемте. Одолев
последнее удушье, мы покинем
чудовище. И выйдем прямо в ночь.
А утром, дикари, под крики солнца
увидим только пар над мерзким чревом.

Кенсингтон

Свет северного лета беспределен,
и вечен вечер — так бывает вечен
покой потусторонний. В час, когда
спешим мы приобщиться к старым тайнам
на новых тропах...
Так вот и она
мне поверяет образы, с какими
встречается,— пока я, не спеша,
веду ее вперед.
«Я верю, верю
во все, чем становлюсь. Во что, не зная
того, меня стремишься каждый миг
ты превратить. К примеру — в Кенсингтон:
извилистые улицы и парки,
наполненные светом, но не солнцем...
Хотя — постой-ка! — я уже цветок...»
Мне образы цветочные легки.
«Du bist wie eine Blume...» — и в моей
ладони оживает ощущенье:
прожорливый бутон, огромный венчик,
способный проглотить меня, букашку.

Кричу:
«Ты превращаешься в цветок,
становишься ты плотью плотоядной!..»
Но нет. Глядит светло и тихо. Образ
развеялся... И только поправляет:
«Ну что ты! Я совсем не мухоловка.
Ты превратил меня в обычный лютик».

Аристократы

О Борхес, Лоуэлл — аристократы
Америки! Вам так близка
ее история и так вам ненавистна,
как мне — близка и ненавистна наша.
Но нет, мне не дано в моих стихах,
как вам, вдаваться в мелочи. Одна моя гадливость
(она уже оглохла от всеобщей немоты)
и есть, возможно, доказательство того, что я живу
так, как ступни цыганки дышат и живут под коркой
грязи,—
я не патриций: я произношу
одни банальности, я тот плебей,
который никогда не прикасался слухом
к неторопливым и живым воспоминаньям дома,
опустошенного и ставшего колодцем страха.

На досуге

Женщина спит. Но уже наступает время
просыпаться мужчинам: скудный свет
наконец их поднимает. Впрочем,
нам нужно совсем немного — только
две вещи важнее всего на свете:
чтоб земля вертелась, чтоб женщины мирно спали.
Зная, что это так, мы можем и дальше
торопиться к концу света. В конце концов
мы ведь не знаем, как его задержать.

Город

Переполненный улицами, которые я обходил стороной,
чтобы не оказаться в местах, знающих меня как
облупленного.

Переполненный голосами, зовущими меня по имени.
Переполненный комнатами, наделившими меня
воспоминаниями.
Переполненный окнами, из которых так подолгу
я глядел на солнце и дождь, что пролетели годы.
Переполненный женщинами, от которых я не мог
оторвать взгляда.
Переполненный детьми, которым еще только предстоит
узнать
все, что меня переполняет,— все, о чем я не говорю им
ни слова.



КОММЕНТАРИИ

XIII—XVIII века

РОМАНСЫ

Романсы в Каталонии — это стихотворения исторического или лирического содержания, исполнявшиеся под аккомпанемент музыкального инструмента. Они зародились и развивались в народной среде и известны в многочисленных версиях, как стихотворных, так и музыкальных. Хотя зарождение жанра относится к эпохе средневековья, большинство каталонских романсов было создано в XVI—XVIII веках, когда почти все писатели Каталонии перешли на испано-кастильский язык. В это время, когда литература на каталанском языке переживала кризис и почти не издавалась (см. предисл., с. 11), романсы сыграли для каталонской культуры чрезвычайно важную роль. Многие из них связаны по своему происхождению с французскими народными песнями и испано-кастильскими романсами. В то же время некоторые наиболее древние и популярные, как, например, «Граф Арнау», представляют собой совершенно оригинальное проявление национальной культуры. Публикация каталонских романсов, этих сохранившихся образцов анонимных произведений фольклорного происхождения, стала осуществляться лишь в XIX веке. Первый из них, «Дон Джоан и дон Рамон», был издан в 1840 году. Романсы до сих пор находят в Каталонии своих исполнителей и среди певцов-профессионалов, и в народной среде.

Граф Арнау (с. 22). — В основу романса легла средневековая легенда, восходящая к XI веку, о «великом грешнике» графе Арнау. При всей скудности данных о реальном лице, послужившем его прототипом, некоем Арнау де Матаплана, очевидно, что его биография имеет мало общего с легендарной жизнью героя народного сказания. Популярность легенды на протяжении многих веков подтверждается тем, что многие ее эпизоды связываются с различными селениями, замками и монастырями Каталонии. Впоследствии к этой теме неоднократно обращались каталонские писатели, например Дж. Марагаль (1860—1911).

Дама из Арагона (с. 26). — Героиня романса не имеет конкретного прототипа. Вместе с тем это одно из свидетельств теснейших связей, политических, династических, экономических и

культурных, существовавших в средние века между Арагоном, Каталонией, Провансом и севером Франции (см. предисл., с. 6).

Возвращение паломника (с. 29). — Романс является каталонской версией чрезвычайно распространенного в европейских литературах сюжета. В испанской литературе параллелью ему является, например, романс «Разлука» («Скачите сюда, кабальеро...»).

Школяры из Тулузы (с. 30). — Романс, по всей вероятности, является оригинальной поэтической версией драматического события, имевшего место в Тулузе в 1332 году, когда были жестоко наказаны студенты, повздорившие с городскими властями. Король Франции Филипп IV заступился за студентов, среди которых были некие братья Пена, и осудил произвол городских властей. Хотя в 1271 году Тулуза была присоединена к французской короне, тесные связи бывшего Тулузского графства с Арагоном и Каталонией сохранились. *Руан* — город и порт на севере Франции, на реке Сена.

Узники Лериды (с. 32). — В одной из версий этого романса действие происходит в Неаполе, долгое время, после завоевания его в 1443 году Альфонсом V, находившемся под властью Арагона, а затем, после объединения королевств Кастилии и Арагона, — Испании. *Лерида* — один из древнейших городов Каталонии, сыгравший важную роль в ее истории.

Дон Луис (с. 33). — Из других версий этого романса явствует, что речь идет о некоем Луисе де Монтальба и действие происходит в Барселоне. Параллелью ему в испанском Романсеро является «Сильнее смерти любовь».

Смерть Бака де Роды (с. 34). — В романсе отразились реальные события начала XVIII века. Франсеск Масиан и Амберт (1653—1713), более известный как Бак де Рода, был одним из руководителей восстания против испанского абсолютизма, вспыхнувшего в старинном каталонском городе Вик 20 июля 1705 года. В этом же городе в 1713 году он был казнен. *Девальядес* — бульвар в г. Вик.

РАМОН ЛЬЮЛЬ (1232—1315)

Выдающийся каталонский философ, теолог, логик, прозаик, поэт, миссионер и педагог. В средневековых документах сохранилось множество вариантов его родового имени (Lull, Llull, Llul и другие). Мы следуем написанию, утвердившемуся ныне в наиболее авторитетных научных изданиях. Он родился на Майорке вскоре после отвоевания острова у арабов (подробнее о майоркинской школе в каталонской литературе см. предисл., с. 7). До тридцати лет вел светский образ жизни, занимая привилегированное положение при будущем короле Джауме II, был женат и имел

детей. Затем в его жизни наступил резкий перелом, объясняемый им самим посетившим его во сне видением, и всю оставшуюся жизнь он посвятил религиозно-подвижнической и просветительной деятельности. Как блестящий полемист и оратор, опираясь на созданную им «логическую машину», «машину истины», состоящую из семи вращающихся вокруг одного центра кругов, он участвовал в философских и богословских диспутах в Риме и Париже, Женеве и Монпелье. Как миссионер, блестяще владея арабским языком, он побывал в Андалусии и Тунисе, Иерусалиме и Армении, Эфиопии и на Мальте, усваивая при этом богатейший культурный опыт Востока. Как философ он оказался создателем грандиозного по своим масштабам свода знаний средневекового человека, «Великой науки», вызывавшей восхищение во всей Европе еще в XVII, а в России и в XVIII веке. Как логик он оказал сильное влияние на Лейбница и занимает почетное место среди предшественников математической логики. Однако самый весомый вклад в развитие европейской культуры он внес тем, что первым в своих работах по философии перешел с латыни на национальный язык, став в то же время родоначальником каталонской литературы. Р. Льюлю приписывают около трехсот сочинений, большинство из которых написаны на народном языке. Его перу принадлежит «Книга о Бланкерне», в которой впервые в европейских литературах широко использованы автобиографический элемент и бытовые подробности. По свидетельству самого Льюля, в юности он писал светские стихи, отвечавшие канонам провансальской лирики (о средневековых каталонских поэтах, использовавших в литературных целях провансальский язык и писавших стихи в соответствии с тематическими и образными нормами лирики трубадуров, см. предисл., с. 6). Однако они оказались утраченными, так как сам писатель счел их впоследствии недостойными своего пера. Лучшие его лирические произведения — «Плач богоматери девы Марии» (1275—1276), поэмы «Разочарованный» (1295), «Песнь Рамона» (1295).

Песнь Рамона (с. 36). ... *я школу создал... которой славен Мирамар...* В 1276 году королем Джауме II и папой Иоанном XXI было одобрено предложение Р. Льюля основать на Майорке, на мысе Мирамар, монастырь, назначением которого было воспитание молодых людей и обучение их восточным языкам для миссионерской деятельности. В 1278 году монастырь был основан. *К науке приобщаясь моей...* — имеется в виду «Великая наука».

О праздности. Об уповании. Об утешении (с. 38—40). — Являясь, по существу, самостоятельными произведениями, эти стихотворения входят в состав большого стихотворного сочинения «Лекарство от прегрешений».

ПЕРЕ МАРК (ок. 1336—1413)

Представитель знатного валенсианского рода, принимавший участие в политических распрях своего времени. В битве на полях Нàхеры (1367) между армиями короля Кастилии Педро I и его сводного брата Энрике был среди арагонцев и каталонцев, выступавших на стороне последнего, и был взят в плен принцем Уэльским Эдуардом, Черным принцем, сыном английского короля Эдуарда III, поддерживавшим Педро I. Марку принадлежат поэтические произведения любовного и политического содержания, еще связанные в тематическом, а в какой-то мере и языковом отношении с блестящей школой каталонских поэтов, писавших попровансальски. Его имя фигурирует в первом испанском литературно-критическом сочинении «Предисловие и послание коннетаблю дону Педро Португальскому», принадлежащем перу испанокастильского поэта И. Лопеса де Мендосы, маркиза де Сантильяны (1398—1458): «Маэстро Педро Марк Старший, храбрый и честный рыцарь, создавал также приятные произведения и, помимо всего прочего, были им написаны весьма нравоучительные притчи».

«Дни человека к смерти чередой...» (с. 41). — Это стихотворение является вариацией на тему знаменитого рассуждения римского философа Луция Аннея Сенеки (4? — 65) в XXIV письме «Нравственных писем к Луцилию», на которое, помимо П. Марка, откликнулось немало средневековых европейских поэтов. Стихотворение состоит из восьми так называемых перекрестных куплетов и замыкается двумя посылками (торнадами). Перекрестный куплет, состоящий, как правило, из десятисложных строк, — самый распространенный тип строфы в каталонской поэзии конца XIV—XV века. Что же касается посылки, то в любовных стихотворениях именно в ней в большинстве случаев содержится указание на адресат.

АНСЕЛЬМ ТУРМЕДА (около 1355 — между 1424 и 1430 гг.)

А. Турмеда родился на о. Майорка и получил основательное образование, изучая вначале грамматику и логику на родине, затем астрономию и физику в крупнейшем культурном центре средневековой Каталонии — Лериде и наконец теологию в Болонье. Приняв в 1379 году священнический сан, он отправился в Северную Африку обращать в христианство арабов, но там сам перешел в мусульманскую веру и закончил свои дни в Тунисе. Его авторитет был настолько велик, что незадолго до его смерти Альфонс V Арагонский направил ему из Неаполя письмо с пред-

ложением вернуться — христианином или мусульманином, с женой, детьми и слугами — в его владения, гарантируя полную безопасность. Судьба сочинений Турмеды не менее удивительна, чем его биография. Если его знаменитая сатирическая книга в прозе «Спор об осле» (1418) была запрещена инквизицией, то «Книга благих наставлений» (1398), принадлежащая перу «отступника», в период с 1635 по 1821 год выдержала в Каталонии сорок изданий, ориентированных на самые различные слои населения. Объясняется это прежде всего тем, что стихотворные произведения, созданные уже после перехода в мусульманство, были им в целом написаны так, как если бы он оставался христианином.

Восхваление денег (с. 45). — Самый знаменитый фрагмент «Книги благих наставлений», состоящей из 428 строк. Этот фрагмент совершенно оригинален, в то время как «Книга благих наставлений» представляет собой в значительной мере подражание, а местами даже перевод анонимной итальянской «Доктрины раба из Бари» (XIII в.). «Восхваление денег» вписывается в ряд многочисленных средневековых европейских сочинений на ту же тему: например, в испанской поэзии параллелью ему является поэтический эпизод «О свойствах, коими обладают деньги» в «Книге благой любви» Хуана Руиса (1283—1350?). *Beati quorum* — начало псалма 31 («Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты»).

Строфы о смуте в королевстве Майорка (с. 46). — Эта аллегорическая поэма, состоящая из 123 строф, была, по признанию самого Турмеды, написана им в 1398 году по просьбе «неких почтенных купцов с Майорки, которые просили его написать сочинение о смуте в этом королевстве», на что он ответил, сочинив «несколько простеньких строф на народном каталанском языке». В 1262 году Майорка, в силу завещания Джауме I, отвоевавшего ее у арабов, стала независимым государством. Она была присоединена к Арагону в 40-е годы XIV столетия. Вся последующая история средневековой Майорки отмечена борьбой между сельским и городским населением. Противоречия между крестьянами и горожанами, коренившиеся в особенностях социального и политического строя, беззакония чиновников и расточительство власть имущих не раз приводили к восстаниям, как, например, в 1391 году, когда отряды крестьян пытались овладеть городом Пальмой, административным центром острова.

АНДРЕУ ФЕБРЕ (1375? — 1444?)

Один из первых представителей итальянской школы каталонских поэтов (о ней см. предисл., с. 9). Родился в городе Вик в

семье ремесленника. Играл заметную роль при дворе Альфонса V, правление которого было ознаменовано захватом ряда итальянских земель. Итальянские походы, в которых, помимо Фебре, участвовало немало крупных каталонских поэтов, способствовали проникновению ренессансных веяний на Пиренейский полуостров. Особенно заметный вклад в развитие каталонской культуры Фебре внес своим переводом в 1429 году дантовского «Ада» (первая стихотворная версия в Европе). Эта работа относится к зрелому периоду его творчества, в то время как от раннего (до 1400 г.) сохранилось пятнадцать стихотворений, написанных еще в значительной мере в традициях провансальской поэзии. Два из них посвящено теме войн с маврами, два — придворной жизни и одиннадцать — любовной теме.

«Тот день, что отделил меня от вас...» (с. 52). *Пула.* — Под этим названием имеется в виду либо Апулия, область Италии на крайнем юго-востоке Апеннинского полуострова, либо город на о. Сардиния, которая была завоевана Арагоном в 1323—1324 годах.

К походу на мавров (с. 54). *Сирвентеск* (прованс.) — жанр средневековых романских литератур, строфическая песня, в которой, как правило, обрабатывались политические, военные и дидактические сюжеты. Сирвентесками на военные темы прославился провансальский поэт Бертран де Борн (последняя четверть XII века), влияние которого ощущается в этом стихотворении Фебре. 14 августа 1398 года в ответ на пиратское нападение мавров на прибрежный поселок Торребланка каталонцы отправили в Северную Африку эскадру, высадившуюся неподалеку от Туниса. Походу был придан характер священной войны против неверных. Сирвентеск Фебре был написан между мартом и апрелем 1398 года, с тем чтобы воодушевить и приободрить воинов перед походом. *Пусть будет отвоевана Гранада...* — Вскоре после того как в 711 году почти вся Испания (за исключением нескольких северных горных районов) была завоевана арабами, испанцы стали постепенно отвоевывать свои территории. Этот процесс, по-испански Реконкиста, растянулся на несколько столетий. Нередко при этом кастильцы, арагонцы и каталонцы вели совместные военные действия. С 1252 года Гранада оставалась единственным оплотом арабских владений на Пиренейском полуострове и была отвоевана лишь в 1492 году.

ДЖОРДИ ДЕ САН ДЖОРДИ (1399—1425)

Один из самых крупных каталонских поэтов. Родился в Валенсии и с юного возраста был при дворе Альфонса V (предисл.,

с. 9). Это во многом определило как факты биографии поэта, так и его культурную ориентацию. В 1420 году он вместе с А. Фебре сопровождал Альфонса V в его экспедиции на Корсику и Сардинию, а двумя годами позже, во время экспедиции к Неаполю, в сражении при Понца Джорди де Сан Джорди был захвачен в плен. Эти события легли в основу его стихотворения «Пленник» («В чужих стенах и в стороне чужой...»). Интерес к итальянской поэзии отразился на всем творчестве поэта, одного из самых ярких каталонских лириков итальянской школы. Наследие Джорди де Сан Джорди невелико по объему, но многое из его любовной лирики, особенно «Белые стихи», относятся к жемчужинам каталонской поэзии. Одной из самых характерных его особенностей является способность давать старым жанрам и литературным мотивам (спор между глазами, разумом и сердцем, смерть от любви и т. д.) новое, неповторимое звучание. Достигается это, как правило, казалось бы, малозначащими в структуре стихотворения мельчайшими стилистическими сдвигами и введением не требуемых традицией психологических оттенков.

«Всегда со мною ваш прекрасный образ...» (с. 56). *Пентисилея* (греч. миф.) — царица амазонок, сражавшаяся против греков на стороне троянцев во время Троянской войны и убитая Ахиллом.

«В чужих стенах и в стороне чужой...» (с. 59). *Сфорца* Франческо (1401—1466) — знаменитый кондотьер на службе у Милана, Флоренции и Венеции, ставший в 1450 году герцогом Миланским.

АУЗИАС МАРК (1397—1459)

Крупнейший поэт кратковременной в Каталонии ренессансной эпохи, А. Марк был в то же время одним из самых видных поэтов-петраркистов Европы. Сын Пере Марка, он, подобно А. Фебре и Джорди де Сан Джорди, принимал участие в войнах, которые вели Арагон и Каталония в Сицилии, Неаполе и на севере Африки, однако после 1425 года оставляет военную карьеру. А. Марк первым из каталонских поэтов решительно порвал с провансальской традицией. Сохранилось сто двадцать восемь стихотворных произведений, принадлежащих перу А. Марка (около десяти тысяч строк), которые достаточно четко подразделяются тематически на четыре группы: «Песни о любви», «Песни о смерти», «Назидательные песни» и поэма «Песнь». В то же время между ними много общего, ибо все они насыщены философской проблематикой. Особенно ощутима глубокая начитанность поэта в наследии Фомы Аквинского (1225—1274). Влияние

А. Марка было весьма значительным не только на соотечественников. Его учеником считал себя Х. Боскан (1492—1542), каталонец по происхождению, которому испано-кастильская поэзия обязана введением ренессансных мотивов и форм. Воздействие творчества А. Марка заметно в произведениях Гарсиласо де ла Веги (1501—1536), друга Боскана, крупнейшего испанского поэта раннего Возрождения. Произведения А. Марка уже в XVI веке неоднократно публиковались как в Каталонии, так и в Испании на языке оригинала, в переводах на испано-кастильский язык и в двуязычных изданиях и вызывали восхищение многих испанских поэтов эпохи Ренессанса.

«Пусть радуется празднкам народ...» (с. 65). *Царь Кипра к нехристю попал в полон...* — Имеется в виду король Кипра Жан де Лузиньян (Жан или Иоанн II), захваченный в 1426 году в плен султаном Египта и выкупленный в 1427 году.

«Пусть паруса н ветры...» (с. 66). *Запад, Мистраль* — западные ветры. *Сирокко* — юго-восточный ветер. *Левант* — восточный ветер. *Грек* — северо-восточный ветер. *Австр* — южный ветер. *Север* — северный ветер.

Шестая песнь о смерти (с. 69). — В цикле «Песен о смерти», состоящем из шести стихотворений, по всей вероятности, оплакивается вторая жена поэта, Джоана Скорна.

Песнь (с. 71). *И дух твой веет, где тебе угодно...* — реминисценция из Библии: «Дух дышит, где хочет...» (Иоанн, 3, 8). *Философы, что сами жизнь прервали...* — Имеются в виду античные философы, прежде всего стоики. *Как реки устремляют бег свой к морю...* — Сходный образ находим в знаменитых «Строфах на смерть отца дона Родриго» (1476) испанского поэта Хорхе Манрике (1440?—1479): «Ведь наши жизни — лишь реки/и путь им дан в океан,/который — смерть...». *Я верю — как сказал ты об Иуде, — /что лучше б не родиться человеку...* — «...горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается: лучше было бы этому человеку не родиться» (Матфей, 26, 24).

ДЖОАН РОЙС ДЕ КОРЕЛЬЯ (1433/1443—1497)

Последний крупный писатель Золотого века каталонской литературы, Ройс де Корелья оставил глубокий след как в поэзии, так и в прозе. Родился в Валенсии. Его типично ренессансные устремления проявились в творческом освоении им античной мифологии, произведений Овидия. Помимо ранней «Трагедии Кальдесы», а также «Жалоб Мирры», «Нарцисса и Тисбы», «Плача королевы Гекубы», «Истории Ясона и Медеи» и «Истории Леанд-

ро и Геро», перу Ройса де Корельи, магистра теологии, принадлежат многочисленные сочинения на различные религиозные темы: «Житие Святой Анны», «История Магдалины», «История Иосифа». Многие его стихотворения, в отличие от прозы, посвящены воспеванию девы Марии. Это лирика высочайшего духовного потенциала и редкой художественной выразительности. Он прославился в равной степени как «Песнопениями в честь девы Марии», так и язвительными стихотворениями, посвященными главным образом его неверной возлюбленной, воспетой им под именем Кальдесы, и любовной лирикой, прославляющей земные человеческие страсти. В своей светской поэзии Ройс де Корелья — видный представитель реалистической валенсианской школы. Его творчеством была окончательно подготовлена почва для зрелого, подлинно национального этапа развития ренессансной литературы на каталонском языке, развитие которой было искусственно прервано.

ФРАНСЕСК ВИСЕНС ГАРСИА (1579/1582—1623)

Один из немногих поэтов периода кризиса каталонской литературы (см. предисл., с. 12), оставшихся верными родному языку. Родился в небольшом городке Тортоса и образование получил в Лериде. Известен под псевдонимом «Ректор из Вальфогоны» — епископии, доставшейся ему по конкурсу в 1607 году, которую он сохранил за собой до конца жизни. Стихи Висенса Гарсиа, опубликованные впервые в 1703 году, получили при жизни поэта широкое распространение в списках. Известен в равной мере и как автор великолепных сонетов и десим о любви, и как создатель многочисленных язвительных сатир. В его творчестве получили отражение идеи барокко. Мощное воздействие испанской поэзии Золотого века проявляется в тематике, стихосложении, синтаксисе и лексике. Впрочем, к сатирической поэзии это имеет минимальное отношение, поскольку здесь испано-кастильскому влиянию противостоит опора на фольклорные традиции и разговорный язык.

К даме, которой поклонник, когда она страдала от жажды, подал кувшин с водой (с. 83). *Как будто в Кане Галилейской,/вода вином тотчас предстала...* — В Кане Галилейской во время брачного празднества не хватило вина, и Христос, который был среди приглашенных, претворил в вино воду (Иоанн, 2, 1—10).

ФРАНСЕСК ФОНТАНЕЛЬЯ (ок. 1615—1680/1685)

Последний значительный представитель каталонской поэзии эпохи барокко. Один из немногих каталонских поэтов XVII столетия, творчество которых не дало пресечься литературной традиции. Родился в Барселоне. Принадлежал к знаменитой семье, принимавшей активное участие в борьбе против испанского абсолютизма. Вместе со своим отцом и братом ратовал за присоединение Каталонии к Франции. В 1652 году после подавления восстания в Каталонии вынужден был покинуть родину. Автор двух драматических сочинений и лирических стихотворений, в основном любовной и религиозной тематики. Прославился ходившим в списках циклом сонетов «Мрачные похороны утраченной красы» (написаны в 1648 г.). Изданные лишь в XIX столетии, произведения Фонтанельи оказали влияние на многих каталонских поэтов-романтиков.

На смерть Нисы (с. 85). — Этот сонет восходит к знаменитому стихотворению Гарсиласо де ла Веги «О ласковые локоны любимой».

XIX век

БОНАВЕНТУРА КАРЛЕС АРИБАУ (1798—1862)

Основоположник романтической поэзии Каталонии, весьма заметная фигура не только в каталонском, но и испано-кастильском литературном процессе. Родился в Барселоне. Был одним из активных сотрудников барселонского журнала «Эль Эуропео», выходившего на испано-кастильском языке с 1821 года и сыгравшего первостепенную роль в становлении романтизма в Испании. Публикация 24 августа 1833 года в барселонском журнале «Эль Вапор» оды Арибау «К родине» послужила толчком и отправной точкой для проходившего под знаком романтизма движения национального возрождения Каталонии (Ренашенсы) (см. предисл., с. 12). Вскоре после публикации оды Арибау в основном отошел от литературы. Помимо оды «К родине», ему принадлежит весьма ограниченное число произведений на каталанском языке.

К родине (с. 90). — В этой оде, прославляющей былое величие Каталонии, выражается надежда на ее возрождение, преемственность национальных традиций заявлена уже размером и типом строфы (о перекрестных куплетах см. на с. 203). *Монсень* — вершина одноименной горной гряды неподалеку от Барселоны. *Льобрегат* — река в провинции Барселона.

ДЖОАКИМ РУБИО И ОРС (1818—1899)

Рубио и Орс был и талантливым поэтом-романтиком, и одним из самых крупных и авторитетных ученых своего времени. Ректор Барселонского университета с 1858 года, он сыграл выдающуюся роль в движении за возрождение каталонской культуры. Именно благодаря его инициативе, организаторскому таланту и поэтическому дарованию это движение стало жизнеспособным. В 1839 году он стал печататься под псевдонимом «Волынщик с Льобрегата» в журнале «Дьярио де Барселона». В 1841 году эти стихи на каталанском языке были изданы отдельным сборником. В 1862 году Рубио и Орс был избран магистром ежегодных «цветочных игр» (см. предисл., с. 13), возобновленных тремя годами ранее. Принадлежал к традиционалистскому крылу романтизма, воспевавшему прежде всего патриархальные нравы и ратовавшему за незыблемость устоев национальной жизни. Помимо стихотворений, его перу принадлежат также пьесы на исторические темы и большое число серьезных научных работ, посвященных главным образом истории каталонской литературы.

ДЖОЗЕП ЛЬЮИС ПОНС И ГАЛЬЯРСА (1823—1894)

Один из самых ярких представителей майоркинской школы в каталонской литературе (см. на с. 7). Возобновление сыгравших чрезвычайно важную культурную роль «цветочных игр» было в значительной мере его заслугой. Произведения Понса и Гальярсы, получившего классическое образование, отмечены ясностью и чистотой — языковой, стилистической и образной — и проникнуты гармоническим мироощущением, контрастирующим с типичными для романтической эпохи хаотичностью и стихийностью поэзии его современников. Наследие Понса и Гальярсы невелико по объему, он автор единственного поэтического сборника «Стихи» (1892).

Апельсиновые сады в Сольере (с. 94). *Сольер* — город на о. Майорка.

Олива Майорки (с. 95). *...помогал тебе жить селянин-мусульманин...* — Майорка была отвоевана у арабов в XIII веке.

ДЖАСИНТ ВЕРДАГЕР (1845—1902)

Великий поэт Каталонии XIX века, благодаря творчеству которого каталонская литература вновь становится соизмеримой с другими литературами Европы. Происходил из крестьянской семьи. Был священником. Произвольное, с точки зрения церков-

ных властей, а на самом деле восходившее к народным представлениям толкование некоторых христианских добродетелей, чрезмерное для правоверного католика увлечение мистицизмом привели к отстранению его от священнической деятельности. В то же время именно эти качества его личности определили своеобразие писательской манеры Вердагера. Две традиции, фольклорная и мистическая, подчас в неразрывном единстве, заметны в его лирике. К первой из них в целом тяготеют такие сборники, как «Монсеррат» (1880), «Цветы Марии» (1902), ко второй — «Мистические идиллии и песни» (1878), «Цветы у распятья» (1896). Славу Вердагеру, как в Каталонии, так и за ее пределами, принесли прежде всего его крупные стихотворные произведения — поэмы «Атлантида» и «Канигó» (см. о них на с. 14). «Нам только и остается, — писал крупнейший испанский критик XIX века М. Менендес и Пелайо, — что, затаив дыхание, восторгаться и возносить хвалу богу за то, что подобное чудо было создано на одном из языков Испании католическим священником редкой скромности и благочестия. Благодаря автору «Атлантиды» Испания ныне может не завидовать Теннисону, Лонгфелло, Кардуччи, Мистралю и иным поэтам других стран». Произведения Вердагера отличают лексическое богатство, гибкость стиха, утраченная с эпохи А. Марка, и пластичность образов, органично вписывающихся в фольклорную традицию. На русском языке отрывок из «Атлантиды» (в переводе М. И. Анверовской) был напечатан в 1910 году в «Записках Неофилологического Общества» (вып. IV, с. 154—156).

Дон Джауме на Сан-Джеронимо (с. 98). — Из сборника «Монсеррат». *Джауме I Завоеватель* (1208—1276) — король Арагона и Каталонии с 1213 года. Отвоевал у арабов Балеарские острова, Валенсию и Мурсию. *Сан-Джеронимо* — вершина горы Монсеррат одноименной горной гряды в провинции Барселона. С нее в ясные дни видна не только Каталония, но также Валенсия, часть Арагона и Балеарских островов. В горах Монсеррата расположен знаменитый монастырь, основанный в IX веке. *Бесос* — река в Каталонии. *Пучмаль, Альбера, Канигó* — горные массивы или вершины гор в Пиренеях. *Льена* — гора в Каталонии. *Монсень, Монжуик* — горы в окрестностях Барселоны. *Лерида, Альбиоль, Таррагона, Жерона, Вик, Уржель, Кардона* — старинные каталонские города (некоторые из них основаны еще греками или римлянами), игравшие первостепенную роль в истории страны. ...о *Серданьях...* — Имеются в виду две пограничные области, примыкающие со стороны Франции и Испании к Пиренеям. В средние века обе они принадлежали Арагону. *Русильон* — ныне одна из областей Франции; в средние века долгое

время входил в состав Арагона и был тесно связан с историей и культурой как Арагона, так и Каталонии. *...когда Роланд в нечестивых с Каниго́ запустил шестопером...* — Речь идет об одном из самых знаменитых героев эпических сказаний цикла Карла Великого. Его прототипом был франкский маркграф, префект бретонской марки. Он принимал участие в походе Карла Великого в Испанию и погиб в битве с басками в 778 году в Пиренеях, в Ронсевальском ущелье, прикрывая отступление франкских войск. В эпической традиции баски были заменены маврами. Параллели наиболее известному произведению, разрабатывающему этот сюжет — французской «Песни о Роланде» (XII в.), существуют в каталонском и баскском фольклоре, в испано-кастильских романсах.

Sum vermis (с. 100). — «Sum vermis et non homo» (лат.) — «Я же червь, а не человек» (Псалтирь, 21, 7). К этой строке в европейских литературах восходит немалое число стихотворений, в которых она либо подхватывается, либо переосмысляется, либо опровергается. Таковы, например, «Жалобы, или Ночные размышления о жизни, смерти и бессмертии» Э. Юнга или ода Г. Р. Державина «Бог» («Я царь — я раб — я червь — я бог»). *Non vivificatur nisi prius moriatur* (лат.) — «То, что ты сеешь, не оживет, если не умрет» (1-е Послание Павла коринфянам, 15, 36). *E carcere ad œthere./Dant vincula pennas.* (лат.) — «Пусть он снимет оковы с крыльев моих,/Дабы позволить взлететь мне в небо из темницы».

Скала Дьявола (с. 104). *Темноликой Деве/шлют они мольбы...* — Имеется в виду главная святыня монастыря Монсеррат — деревянная скульптура девы Марии, почитаемая во всей Каталонии с эпохи раннего средневековья. В стихотворении нашла отражение одна из легенд, основывающихся на ее чудотворности.

Розалия (с. 106). *Fulcite me floribus, stipate me malis: quia amore langueo* (лат.) — «Подкрепите меня вином, освежите меня яблоками, ибо я изнемогаю от любви» (Песнь Песней, 2, 5).

АНЖЕЛЬ ГИМЕРА (1845—1924)

Крупнейший каталонский драматург и поэт. Родился на Канарских островах. В историю каталонской поэзии вошел единственным сборником «Стихи» (1887), в котором собраны в основном юношеские стихотворения. В них Гимера выступает как поэт-романтик, многим обязанный творчеству В. Гюго. Его перу принадлежат сорок две пьесы, первая из которых написана в 1879 году, а последняя — в 1921-м. Подавляющее число лирических стихотворений было первоначально напечатано им в журнале «Рена-

шенса», среди основателей которого он был. Гимера — один из самых популярных как в Испании, так и за пределами своей родины каталонских писателей. Его пьесы переводили на все основные европейские языки (в том числе на русский) и широко ставили на сцене. Мировую известность А. Гимере принесли прежде всего его реалистические пьесы, созданные в 80—90-е годы, такие, как «Море и небо» (1888), «Безумная» (1890), «Мертвая душа» (1892), «Долина» (1897).

Год тысячный (с. 111). — На исходе первого тысячелетия над Европой пронеслась чрезвычайно яркая комета. Ожидание перемен накануне нового тысячелетия, год ее появления (мистические три девятки) и тот факт, что она пролетела очень близко от Земли, — все это было истолковано как дурное предзнаменование. Паника охватила католическую Европу; люди ждали эпидемий, войн и вообще конца света. *И лестницей Иакова лучистой...* — Иакову приснился сон: по лестнице с неба к нему спустился господь и благословил в нем не только его потомство, но и «все племена земные» (Бытие, 28, 12—14).

«Кубинской земли герои!» (с. 115). — Стихотворение обращено к кубинцам, боровшимся против колониального господства Испании и участвовавшим в национально-революционной войне 1895—1898 гг.

ДЖОАКИМ МАРИА БАРТРИНА (1850—1880)

Родился в городе Реус. Произведения Бартрины — одна из форм реакции на романтизм. Он поэтизировал достижения естественных наук и физиологии, широко использовал разговорные интонации. В то же время его творчество, при всем преклонении поэта перед достижениями современной цивилизации, проникнуто глубоким пессимизмом и скептицизмом в отношении прогресса человеческого общества и человеческой личности. Будучи двуязычным поэтом, Бартрина оставил след как в каталонской, так и в испано-кастильской поэзии.

Послание (с. 116). — Традиция осуждения пороков общественной жизни и восхваление преимуществ жизни на лоне природы восходит еще к Горацию. На испанской почве пафос воспевания патриархальной жизни, цельных, гармонических натур, не затронутых гибельным воздействием городской цивилизации, нашел наиболее яркое воплощение в творчестве великого поэта эпохи Возрождения Луиса де Леона (1527—1591), особенно в его «Уединенной жизни». В стихотворении Бартрины значительно усилена обличительная направленность. *Amaro e noia/la vita, altro*

mai nulla, e fango è il mondo — «Вся жизнь — /Лишь горечь и скука./Трясина — весь мир» (Дж. Леопарди. «К себе самому». Перевод А. Ахматовой). *Линней Карл* (1707—1778) — шведский естествоиспытатель. Известен прежде всего созданной им систематизацией животного и растительного мира. *Атеней* — так назывались культурные учреждения, представлявшие собой соединение ученого, литературного и артистического клубов, назначением которых была популяризация знаний среди самых различных слоев населения. В них сосредоточивались интеллектуальные силы Испании, и они сыграли весьма заметную роль в культурной жизни страны. Атенеи были во многих городах Испании, в том числе в Севилье, Сарагосе, Валенсии. Самым знаменитым был мадридский, основанный в 1820 году. В Барселоне Атеней был основан в 1860 году. *Мом* (греч. миф.) — божество злословия. *Талия* (греч. миф.) — одна из девяти муз, покровительница комедии.

ДЖОАН АЛЬКОВЕ (1854—1926)

Родился на о. Майорка. Изучал право в Барселонском университете. Представитель майоркинской школы рубежа веков. Свою литературную деятельность Альковe начал в качестве испаноязычного поэта. Один за другим вышли в свет четыре его поэтических сборника на испано-кастильском языке: «Стихи» (1887), «Новые стихи» (1892), «Стихотворения и гармонии» (1894), «Метеоры» (1901). Однако с годами в поэте крепла потребность внести свой вклад в возрождение национальной культуры. Непосредственным толчком для обращения к родному языку послужила личная драма: смерть жены (1887) и детей (1901 и 1905). По словам одного из его соотечественников, ни на одном языке, кроме родного, боль утраты поэт в полной мере выразить не мог. Альковe выпустил два поэтических сборника на каталанском языке: «Надвигающиеся сумерки» (1909) и «Библейские стихи» (1918). Обращение к родному языку было для Альковe связано с идеей, которая стала в последний период его творчества определяющей: «ввести искусство в русло народной жизни». Он утверждал, что «назначение поэтов не в том, чтобы запечатлеть свою неповторимую личность, недоступные другим чувства, а в наивысшем, наиболее напряженном и чистом выражении присущих всем переживаний, в даре пробуждать поэзию, скрытую в душе каждого». В творчестве Альковe стремление к объективному изучению предмета и скульптурность формы, усвоенные им у французских поэтов-парнасцев, сочетаются с непосредственным и тонким ощущением природы.

Воспоминание о Сольере (с. 122). *Сольер.* — См. примеч. к с. 94.

Гость (с. 123). — Стихотворение посвящено Рубену Дарио (1867—1916), великому никарагуанскому поэту, слава которого еще при жизни шагнула далеко за пределы его родины. *Эфоры* — коллегия высших должностных лиц в Спарте, в обязанности которых входило наблюдать за деятельностью всего населения страны, включая царя.

АНОНИМНЫЕ ЭПИГРАММЫ

Национальные истоки жанра — в так называемых песенках-прениях, сочинявшихся средневековыми каталонскими поэтами к турнирам «цветочных игр». Первым поэтом, писавшим эпиграммы, был Висенс Гарсиа. Однако расцвет этого поэтического жанра в Каталонии приходится на период национального возрождения, а еще точнее — на последнюю треть XIX столетия. Почти одновременно были изданы три антологии, две из них в Барселоне — «1001 каталонская эпиграмма» (1879), «Эпиграммы» (1881) — и одна в Валенсии — «Пчелиный рой» (1879).

Разговор со Святым Антонием... (с. 125). *Святой Антоний* — во всей Испании считается покровителем людей, что-либо потерявших, и именно к нему в этих случаях обращаются с молитвами.

АНОНИМНЫЕ ЭПИТАФИИ

Первоначально — надгробные надписи. В данном случае, как и в других европейских литературах нового времени, — это сатирическая, пародийная эпитафия, сближающаяся по жанру с сатирической эпиграммой.

ДЖОАН МАРАГАЛЬ (1860—1911)

Крупнейший поэт рубежа веков, чуткий к эстетическим и философским исканиям своей эпохи. Начиная с Марагаля, каталонские поэты осознают себя творцами не только национальной, но и всеевропейской культуры. Родился в Барселоне. Там же изучал право. Самый авторитетный критик своего поколения, заявившего о себе в последние десятилетия XIX столетия. Особую остроту и актуальность статьям Марагаля придавал его интерес к социальным и философским проблемам: хотя первое его стихотворение было напечатано в 1886 году, сборники стали появляться значительно позже: «Стихотворения» (1895), «Видения и песни»

(1900). Для формирования творческого метода поэта большое значение имела немецкая культура, причем в таких различных своих проявлениях, как Гете и Ницше. Перу Марагаля принадлежит немало переводов из немецкой литературы. Кроме Гете и Ницше, он переводил Шиллера, Новалиса, Гейне. Марагалю был присущ своеобразный культ «живого слова» (по определению самого поэта): «В этом мире, — утверждал он, — нет ничего чудеснее слова, ибо в нем заключены и сосредоточены все чудеса материи и все чудеса духа, какими только наделена Природа».

Великопостная среда (с. 130). *Великопостная среда* — первая среда в великом посту. В этот день в ходе вечерней службы происходит обряд помазания прахом. Его смысл — напоминание о бренности человеческого бытия.

Песнь (с. 131). — Это стихотворение из сборника «Секвенции» (1911), перекликающееся с одноименным произведением А. Марка, — одно из самых знаменитых в каталонской поэзии. Переведено на многие языки: его переводчиками были М. де Унамуно, А. Камю, Э. Монтале. *Того, кто повелел: «Остановись!» из всех мгновений лишь мгновенью смерти...* — Имеется в виду гетевский Фауст, который в финале трагедии, постигнув наконец высшую, с его точки зрения, цель человеческого развития, говорит: «Остановись, мгновенье, ты прекрасно!» В эту минуту он, согласно договору с Мефистофелем, за отказ от дальнейшего стремления к бесконечной цели падает мертвым.

Ода к Испании (с. 132). — Стихотворение является одним из откликов на поражение Испании в войне 1898 года с США, в результате которой Испания лишилась своих последних заокеанских колоний. В этой, по сути дела, антиоде нашли воплощение чувства возмущения, горечи и презрения, которыми была охвачена вся страна. В испано-кастильской литературе в атмосфере катастрофы 1898 года сформировалось так называемое Поколение 1898 года — поколение М. де Унамуно, Р. дель Валье-Инклана, Пио Барохи. *Пример Сагунто...* — Притязания карфагенян на этот город, заложенный римлянами и находящийся в провинции Валенсия, послужили поводом к началу второй Пунической войны. Жители города прославились тем, что во время его осады в 219 году до н. э. войсками Ганнибала они предпочли сгореть в огне, но не сдаться. Подвиг Сагунто воспет многими испанскими поэтами (Луперсио Леонардо де Архенсола, Франсиско де Риоха и другие).

Новая ода Барселоне (с. 133). — Из сборника «Секвенции». *Грязь твоих мостовых, Барселона, перемешана с кровью.* — Здесь и далее (*...там готовится месть,/но свершится на улицах людных вдоль склона!*) — намек на события «крова-

вой барселонской недели» 1909 года, когда, после волнений среди новобранцев, отправляемых в Марокко, где Испания вела войну, в Барселоне начались массовые выступления, жестоко подавленные правительством. *А еще у тебя над морем гора высокая есть,/замок стоит на вершине...* — На горе Монжуик, возвышающейся над Барселоной, в 1640 году, после восстания каталонцев против испанского абсолютизма, по приказу Филиппа IV была построена крепость для пресечения выступлений в защиту национальных прав. *И есть у тебя твоя Рамбла, красавица-щеголиха....* Рамбла — одна из центральных улиц Барселоны. Она проходит через различные районы города, между которыми в начале века социальные контрасты были особенно ощутимы. *...Вознесся храм, с цветком гигантским схожий...* — Имеется в виду незаконченный собор, который строился по проекту выдающегося каталонского архитектора Антонио Гауди (1852—1926).

XX век

ДЖОЗЕП КАРНЕ (1884—1970)

Основоположник движения «ноусентистов» (см. предисл., с. 17), один из самых крупных каталонских поэтов XX века. Родился в Барселоне. Там же изучал философию, филологию и право. В 1910-е годы вел активную деятельность в качестве редактора газеты «Ла Веу де Каталунья» («Голос Каталонии») и члена филологической секции Института каталонских исследователей. С 1921 года началась его дипломатическая карьера. После прихода к власти франкистов поэт принял решение не возвращаться на родину. Был профессором университета в Мехико и преподавателем университета в Брюсселе. Умер в Брюсселе. Как поэт Карне сформировался очень рано: первые его стихи были опубликованы еще в преддверии XX века, когда ему было двенадцать лет. Автор двадцати поэтических сборников, в том числе: две «Книги сонетов» (1905, 1907), «Сочные плоды» (1906), «Слово на ветру» (1914), «Безмятежное сердце» (1925), «Волшебный сосуд» (1933), «Пророк» (1941), «Деревья» (1954), «Колесо года» (1966). Гармоническое мироощущение, во многом определившее своеобразие его творческой индивидуальности, и стремление к классической упорядоченности стиха нередко истолковывались критиками как нежелание видеть диссонансы эпохи. По словам М. де Унамуно, он был «недостаточно трагичен». Гуманистическая линия в произведениях Карне становится особенно заметной, начиная со сборника «Безмятежное сердце». В стихотворениях, написанных в эмиграции, творчество Карне становится еще более «открытым в мир». Он переводил Шекспира, Дефо,

Кэрролла, Диккенса, Теккерея, Мольера, Лабрюйера, Лафонтена, Андерсена, Франциска Ассизского. Практически все значительные поэты Каталонии XX столетия считали Карне своим учителем.

«Сподобь нас, боже, умереть...» (с. 140) и «Сподобь нас, боже, быть ростком...» (с. 141). — Из сборника «Прекрасная земля, прекрасный народ» (1918), цикл «Сподобь нас, боже». Первые строки стихотворений этого цикла заимствованы из знаменитой «Хроники» Р. Мунтане (1265—1336), самой яркой в художественном отношении из средневековых каталонских хроник, проникнутой глубоко личными переживаниями писателя-патриота.

КАРЛЕС РИБА (1893—1959)

На фоне каталонской литературы XX века творчество Рибы воспринималось современниками как живая классика. С другой стороны, по характерному мнению А. Манента, «поэзия Рибы — продукт более зрелой, нежели наша, культуры». Родился в Барселоне. Получил солидное гуманитарное образование, сначала в Барселонском университете, а затем углубил его за границей. Долгое время был профессором по кафедре классической филологии в родном городе. В начале своего творческого пути Риба развивал идеи поколения «ноусентистов». Его творческий метод складывался под перекрестным влиянием Данте и А. Марка, с одной стороны, и Малларме, Валери и Рильке — с другой. Риба подчас был склонен к усложненной поэтической речи. Между тем его поэзия — поэзия трудная, но не темная интеллектуальная, но не головная. Эмигрировав в 1939 году, в 1943 он счел возможным вернуться, однако лишь затем, чтобы в бесконечно трудных условиях сделать все возможное для сохранения национальной культуры. Мироощущение Рибы и его творческий метод претерпели значительные изменения, однако в целом в таких сборниках, как две «Книги стансов» (1920, 1928), «Три сюиты» (1937), «Бьервильские элегии» (1942), «Игра и огонь» (1946), «Дикое сердце» (1952), он остался верен выбранной поэтической интонации. В то же время, начиная с «Бьервильских элегий», его поэзия обретает гражданское звучание. Блестяще воссоздав на каталонской почве памятники античной литературы: «Одиссею» Гомера, произведения Эсхила, Софокла, Еврипида, Плутарха, Ксенофонта, — он переводил также библейские тексты («Песнь Песней», «Книга Руфь»), Гёльдерлина, По, Гофмана, Гоголя, Сенкевича, Рильке, Кавафиса и многих других.

«Издалека выкликну имя твое, о Суний многоколонный!» (с. 149). *Суний* — мыс на юго-восточном побережье Аттики, омываемый Эгейским морем. Здесь находится знаменитый храм Посейдона.

«Блажен, кто и под небом чуждых стран...» (с. 151). *Uns wiegen lassen, wie/Auf schwankem Kahne der See* (нем.) — «Пусть нас убаюкает качающийся челн озера». Строка из стихотворения «Мнемозина» (третий вариант) Ф. Гёльдерлина (1770—1843).

Канте хондо (с. 151) (буквально: «глубокое» или «глубинное» пение). — Речь идет о разновидности андалузской народной песенной поэзии, в которой текст, мелодия и исполнение находятся в неразрывном единстве, что свидетельствует о ее древнем происхождении.

ДЖОАН САЛЬВАТ-ПАПАСЕЙТ (1894—1924)

Один из самых ярких представителей авангардистской поэзии в Каталонии, автор сборников «Почтовый маяк и чайки» (1921), «Заговоры» (1922), «Роза в губах» (1923), «Малая Медведица» (1925) и других. Родился в Барселоне в семье матроса. Сменил несколько профессий, прежде чем пришел к убеждению, что его призвание — литература. Начиная с 1914 года активно сотрудничал в левой прессе, выходившей как на испано-кастильском, так и на каталанском языках, подписывая свои статьи псевдонимом «Горькианец». Всю свою недолгую жизнь (он умер от туберкулеза) испытывал материальные затруднения. Подлинная слава пришла к нему уже после смерти, при этом новые поколения читателей и поэтов увидели в нем не столько авангардиста, сколько реалиста. Действительно, при полном равнодушии к метафизическим абстракциям, Сальват-Папасейт вовлекал в поэзию богатый запас разнохарактерных впечатлений от потока повседневной жизни, встреч с людьми. Бунтарская же сторона его творчества, сказавшаяся в мироощущении, тематике, образности, лексике, стихосложении, была отражением его несколько анархического протеста против современного общества и искусства. Как это неоднократно подчеркивалось исследователями его произведений, поэзия Сальват-Папасейта, при том немногом, что он успел сделать для каталонской культуры, ни в коей мере не «обещание» (что нередко можно сказать о наследии иных рано умерших поэтов), а яркая, единая и завершенная картина мира.

Сочельник (с. 155). *Симбомба* (катал.). — музыкальный инструмент, род барабана.

ДЖОЗЕП ВИСЕНС ФОШ (род. в 1894)

Один из самых известных за пределами своей родины каталонских поэтов. Родился в поселке Сарриа под Барселоной. Популярность Фошу в первый период его жизни принесла не столько поэзия, сколько отмеченная радикальными взглядами публицистика, редакторская и журналистская деятельность. Его активное участие в борьбе за автономию Каталонии нашло отражение в книге «Движение за права Каталонии» (1934). В творчестве Фоша органично сочетаются элементы многовековой национальной традиции (поэзии трубадуров и ренессансной лирики) и своеобразно переосмысленные особенности поэтики сюрреализма. Тесно связанный с французскими поэтами-сюрреалистами, Фош активно пропагандировал за пределами своей родины творчество деятелей культуры Испании: выдающегося живописца, скульптора и графика XX века Х. Миро (род. в 1893) и крупнейшего кинорежиссера Л. Бунюэля (род. в 1900). Начав печататься в 20-е годы, лучшие свои стихотворные сборники он выпустил после национально-революционной войны: «Один, и в трауре» (1947, написан в 1936) и «Потусторонние ометы» (1948). Зрелое творчество Фоша пронизывают три темы: назначение поэта, судьба Каталонии и философские размышления о вечном и преходящем в человеческой жизни и в мироздании.

МАРИА МАНЕНТ (род. в 1898)

Поэт, оставшийся верным традициям «ноусентистов» и продолжавший их в углубленном и обогащенном виде на новом этапе. Родился в Барселоне. Изучал там торговое дело и иностранные языки. Играл весьма заметную роль в культурной жизни Барселоны в качестве редактора нескольких журналов. Автор четырех поэтических сборников: «Ветвь» (1918), «Жатва в тумане» (1920), «Тень и другие стихотворения» (1931) и «Город времен» (1961). Глубокий след в его творчестве оставили Карне, Клодель, Рильке и Йитс. Он утверждал, что «поэзия рождается в метафорическом порыве, от необъяснимой радости, которую испытывает тот, для кого не секрет, что все сущее существует лишь в единстве, и кто знает, что между самыми далекими друг от друга явлениями, даже отчаянно контрастирующими живыми существами и предметами имеется связь». Безукоризненный вкус, артистическое чутье и высокая культура (его перу принадлежат прекрасные переводы из англоязычных и восточных поэтов) — все это сделало Манента мастером тонкой психологической зарисовки.

ПЕРЕ КВАРТ (род. в 1899)

Поэт-сатирик, один из лидеров послевоенной каталонской поэзии. Настоящее его имя — Джоан Оливе. Пере Кварт — псевдоним, построенный по принципу: королевское имя в сопровождении «порядкового номера» — Пере Четвертый. Родился в индустриальном городе Сабадель. Получил юридическое образование в Барселоне. Жанровый диапазон его творчества (как и большинства его соотечественников и современников) достаточно широк: его перу, помимо стихов, принадлежат пьесы, проза, публицистика и переводы. Для театра он переводил Мольера, Шоу, Чехова, Беккета, Брехта. Первые сборники поэта — «Головы на плахе» (1934) и «Зверинец» (1937) — вышли в период расцвета каталонской литературы. Уже тогда его ироническая, а подчас язвительно-сатирическая поэзия обратила на себя внимание. После гражданской войны, эмигрировав сначала во Францию, а затем в Чили, провел там восемь лет. В сборниках «Оплаченный отпуск» (1960), «Обстоятельства» (1968) Пере Кварт последовательно и беспощадно разрушал все каноны и штампы интимной лирики, утверждая при этом метод, который каталонские литературоведы определяют как «исторический реализм».

Боров (с. 181). *Мартинов день.* — В день святого Мартина в католических странах принято колоть свиней.

Приписка к завещанию поэта (с. 182). *Все прочее — литература* — последняя строка программного стихотворения П. Верлена «Искусство поэзии» (перевод Б. Пастернака).

САЛЬВАДОР ЭСПРИУ (род. в 1918)

Крупнейший современный поэт, прозаик и драматург. Родился в семье нотариуса. Его детство прошло в небольшом приморском поселке Аренис. Изучал в Барселонском университете филологию и право. Первую свою книгу, на испано-кастильском языке, он издал в шестнадцать лет. Автор поэтических сборников «Кладбище в Синере» (1946), «Песни Ариадны» (1949), «Mrs. Death» (1952), «Путник и стена» (1954), «Бычья шкура» (1960), «Страстная неделя» (1971) и др., в которых отчетливо просматриваются две тенденции: поэзии гражданской, в пророческом или гротесково-сатирическом звучании, и философской, подымающей вечные, волнующие поэта вопросы бытия. Один из представителей так называемого поколения гражданской войны. Обращаясь к моло-

дежи, Эсприу как-то сказал: «Вы не знаете, что это были за годы: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 и добрая половина следующего десятилетия. Я конкретизирую, ибо, если сказать «от 39 по 50-е», то можно и не заметить, как они промелькнули. Сказанные же иначе, они приобретают совсем другое звучание». Читателям, признавшим Эсприу выразителем своих чувств и мыслей, поэт предлагает отнюдь не простой путь. Его творчество, проникнутое трагическим мироощущением, нередко вызывавшее упрек со стороны критики в интеллектуализме, герметизме, оказалось тем не менее наиболее созвучным народным настроениям, наиболее подлинным выражением надежд и страданий нации. Особенно это относится к сборнику «Бычья шкура», возможно, самой популярной во всей Испании поэтической книге 60-х годов. Все творчество Эсприу пронизывает тема смерти, в постановке которой его стихи созвучны скорее испаноязычной поэзии, прежде всего творчеству высоко чтимого им М. де Унамуно. Особую остроту размышления Эсприу принимают после поражения республики, потерь, которые понесло в войне его поколение. «Все мое творчество, — утверждал поэт, — это размышление о смерти. Чтобы избавиться от страха перед ней. И чтобы обрести просветленность и спокойствие перед лицом этой проблемы». Этический камертон его произведений в целом на протяжении всей жизни неизменен. В минуты одиночества и душевных кризисов поэт выверял его по любимым книгам: «Нравственным письмам к Луцилию» Сенеки, «Божественной комедии» Данте, «Рассуждению о методе» Декарта, «Дон Кихоту» Сервантеса. Своеобразие Эсприу как поэта в полной мере проявляется уже в языке, гармонично сочетающем лексику архаическую, библейскую и разговорную, подчас диалектальную.

«Я шел по улицам Синеры...» (с. 184). *Синера* — «перевернутое» название селения Аренис, в котором прошло детство поэта. Так реальные воспоминания, преломившись, послужили материалом для мифотворчества.

I beg your pardon (с. 185). — *I beg your pardon* (англ). — «Прошу прощения». Это стихотворение, включенное в сборник «Песни Ариадны», является одним из ранних отражений в поэзии тревоги за судьбу человечества перед лицом ядерной угрозы. *Бадалона* — город вблизи Барселоны.

Тобою водружен божок, напоминающий твой рок (с. 186). — В этом стихотворении из сборника «Бычья шкура» нашла отражение тема национально-революционной войны в Испании (1936—1939), в которой каталонцы боролись против

фашизма как за демократические преобразования, так и за свои национальные права, предоставленные им республиканским правительством. Эта тема (в публицистическом или философском звучании) пронизывает все творчество Эсприу и различима почти во всех стихотворениях поэта, представленных в нашем сборнике.

Начало песнопения в соборе (с. 190). — *Раймон* (род. в 1940 г.) — каталонский певец, некоторые его песни написаны на стихи Эсприу. Его популярность была особенно велика в 60-е годы, во время подъема антифранкистского движения.

«Бессмертие, нам дорогое слово...» (с. 190). *Томас Гарсес* (род. в 1901) — известный каталонский поэт.

ГАБРИЭЛЬ ФЕРРАТЕ (1922—1972)

Родился в промышленном городе Реус. Творчество Феррате ограничено рамками одного десятилетия: изданные в течение 60-х годов три его поэтических сборника были в 1968 году объединены в итоговой книге «Женщины и дни». Поэт настаивал на том, что стихотворение создается содержанием, приводя при этом слова Гете, утверждавшего, что вопросы стиля могут занимать только увлекающихся поэзией барышень. Метафорической игре, в той или иной мере символического звучания, и словесной, идущей от авангардизма эквилибристике он противопоставил нарочито разговорную интонацию стихов, посвященных «скрупулезному описанию переживаний среднего, подобного самому поэту, человека». Долгое время Феррате двигался «против течения», пока не заставил и критику, и читателей признать его реформу совершившимся фактом.

На восходе (с. 195). *Иблис* — в арабской мифологии сатана, падший ангел, отказавшийся поклониться созданиому Аллахом Адаму, за что был изгнан с небес и поклялся совращать людей. В литературе наиболее яркое воплощение нашел в «Шахнаме» Фирдоуси.

Бесплодная задача (с. 195). *«Света! Больше света...»* — предсмертные слова Гете.

Le Grand Soir (с. 196). *Le Grand Soir* (фр.) — шутливое французское выражение, возникшее в последние десятилетия XIX столетия. Его смысл: канун всеобщего ликования по поводу социальных перемен и радикальных преобразований.

Кенсингтон (с. 197). — *Из сборника* «Теория тел» (1966). *Кенсингтон* — район в Лондоне, знаменитый своим ботаническим садом. *Du bist wie eine Blume* (нем.) — «Ты как цветок...» — Первая строка стихотворения Г. Гейне («Книга песен», цикл «Возвращение домой», № 47), представляющего собой обработку народной песни.

Аристократы (с. 198). *Борхес* Хорхе Луис (род. в 1899) — знаменитый аргентинский писатель. *Лоуэлл* Роберт (род. в 1917) — американский поэт.

Вс. Багно

СОДЕРЖАНИЕ

XIX век

БОНАВЕНТУРА КАРЛЕС АРИБАУ

ДЖОАКИМ РУБИО И ОРС

ДЖОЗЕП ЛЬЮИС ПОНС И ГАЛЬЯРСА

ДЖАСИНТ ВЕРДАГЕР

АНЖЕЛЬ ГИМЕРА

ДЖОАКИМ МАРИА БАРТРИНА

ДЖОАН АЛЬКОВЕ

АНОНИМНЫЕ ЭПИГРАММЫ

АНОНИМНЫЕ ЭПИТАФИИ

ДЖОАН МАРАГАЛЬ

XX век

ДЖОЗЕП КАРНЕ

КАРЛЕС РИБА

ДЖОАН САЛЬВАТ-ПАПАСЕЙТ

ДЖОЗЕП ВИСЕНС ФОИШ

МАРИА МАНЕНТ

ПЕРЕ КВАРТ

САЛЬВАДОР ЭСПРИУ

ГАБРИЭЛЬ ФЕРРАТЕ

И32 **Из каталонской поэзии:** Пер. с каталан./Сост. З. Плавскина, Вс. Багно; Вступ. ст. З. Плавскина; Справки об авторах, примеч. Вс. Багно.— Л.: Худож. лит., 1984. — 232 с., ил.

В сборник вошли анонимные романсы и стихотворения лучших каталонских поэтов XIII—XX веков: Рамона Льюля, Джорди де Сан Джорди, Аузиаса Марка, Джасинта Вердагера, Джоана Марагаля, Сальвадора Эсприу и других.

И $\frac{4703000000-080}{028(01)-84}$ КБ-17-15-84 **ББК 84. 4 Ис**

Из каталонской поэзии

Редакторы Н. Снеткова, Г. Орел
Художественный редактор В. Куприянов
Технический редактор Н. Литвина
Корректор М. Зимина

ИБ № 3284

Сдано в набор 04.05.84. Подписано в печать 03.12.84. Формат 84×108 1/32. Бумага тип. № 1. Гарнитура «Академическая». Печать высокая. Усл. печ. л. 12,18. Усл. кр.-отт. 12,39. Уч.-изд. л. 11.18. Тираж 25 000 экз. Изд. № ЛVII-56. Заказ № 158. Цена 95 коп. Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература», Ленинградское отделение. 191186, Ленинград, Д-186, Невский пр., 28. Ленинградская типография № 2 головное предприятие ордена Трудового Красного Знамени Ленинградского объединения «Техническая книга» им. Евгении Соколовой Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 198052, г. Ленинград, Л-52, Измайловский проспект, 29.


95 к.